УДК 8:372.8
ISSN 2500-2953

Rhema. Рема

3.2017

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Московский педагогический государственный университет

Издается с 2002 г.

ПИ № ФС 77–67769 от 17.11.2016 г.

Выходит 4 раза в год

Адрес редакции:
109240, Москва, ул. В. Радищевская, д. 16–18, комн. 223

Сайт: www.mpgu.su,
см. раздел «Издания МПГУ»
E-mail: rhema.pema@gmail.com

© МПГУ, 2017

ISSN 2500-2953

Rhema. Рема

3.2017

THE FOUNDER:
Moscow State University of Education

The journal has been published since 2002

Mass media registration certificate
ПИ № ФС 77-67769
as of 17.11.2016

The journal is published 4 times a year

Editorial office:
Moscow, Russia, Verhnyaya Radishchevskaya str., 16–18, room 223, 109240

E-mail: rhema.pema@gmail.com
Information on journal can be accessed via: www.mpgu.su

© МПГУ, 2017

Редакционная коллегия

Главный редактор

Антон Владимирович Циммерлинг – доктор филологических наук; научный руководитель Института современных лингвистических исследований Московского педагогического государственного университета; профессор кафедры общего языкознания и русского языка Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина; профессор кафедры компьютерной лингвистики и формальных моделей языка Московского педагогического государственного университета; ведущий научный сотрудник сектора типологии Института языкознания РАН.

Заместитель главного редактора

Екатерина Анатольевна Лютикова – доктор филологических наук, доцент; доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; заведующая лабораторией общей лингвистики и теории грамматики, профессор кафедры компьютерной лингвистики и формальных моделей языка Института современных лингвистических исследований Московского педагогического государственного университета.

Ответственный секретарь

Павел Валерьевич Гращенков – кандидат филологических наук; старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; старший научный сотрудник отдела языков народов Азии и Африки Института востоковедения РАН; старший научный сотрудник лаборатории общей лингвистики и теории грамматики Института современных лингвистических исследований Московского педагогического государственного университета.

Татьяна Михайловна Воителева – доктор педагогических наук, профессор; профессор кафедры методики преподавания русского языка и литературы Московского государственного областного университета.

Елена Валентиновна Гетманская – доктор педагогических наук; профессор кафедры методики преподавания литературы Института филологии Московского педагогического государственного университета.

Атле Грённ – профессор кафедры литературы, страноведения и европейских языков Университета Осло, Норвегия.

Илона Кишш – PhD (филология); главный редактор журнала «Русский квартал» Будапештского университета имени Лоранда Этвёша, Венгрия; профессор кафедры всемирной литературы Института филологии Московского педагогического государственного университета; старший научный сотрудник Института перспективных исследований Московского педагогического государственного университета.

Сурен Тигранович Золян – доктор филологических наук, профессор; ведущий научный сотрудник Института философии и права Национальной Академии наук Армении, г. Ереван, Армения; профессор Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, г. Калининград, Россия.

Павел Лавринец – доктор гуманитарных наук, доцент; заведующий кафедрой русской филологии Вильнюсского университета, Литва.

Анатолий Симонович Либерман – доктор филологических наук; профессор кафедры немецкого, нидерландского и скандинавских языков Университета Миннесоты, г. Миннеаполис, США.

Сильвия Лураги – профессор факультета гуманитарных наук, Университет Павии, Италия.

Нерея Мадарьяга Писано – PhD (филология); доцент кафедры классических языков (секция славянской филологии) Университета Страны Басков, г. Витория, Испания.

Михаил Николаевич Михайлов – PhD (филология); профессор переводоведения (русский и финский языки) Института языков, перевода и литературы Университета Тампере, Финляндия.

Игорь Алексеевич Пильщиков – доктор филологических наук; ведущий научный сотрудник Института мировой культуры МГУ имени М.В. Ломоносова; главный редактор Фундаментальной электронной библиотеки «Русская литература и фольклор», г. Москва, Россия.

Владимир Александрович Плунгян – доктор филологических наук, профессор, академик РАН; заместитель директора Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН; заведующий сектором типологии Института языкознания РАН; профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики МГУ имени М.В.Ломоносова.

Велка Александрова Попова – кандидат филологических наук; доцент кафедры болгарского языка, сотрудник лаборатории прикладной лингвистики факультета гуманитарных наук Шуменского университета имени Епископа Константина Преславского, Болгария.

Наталья Вадимовна Сердобольская – кандидат филологических наук; доцент Учебно-научного центра лингвистической типологии Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета; заведующая лабораторией лингвистической типологии Института современных лингвистических исследований Московского педагогического государственного университета.

Андрей Стоянович – доктор филологических наук, профессор; заведующий кафедрой иностранных языков Белградского университета, Сербия.

Младен Ухлик – доктор филологических наук, профессор; заведующий кафедрой русского языка Отделения славянских языков философского факультета Университета Любляны, Словения.

Александр Иосифович Федута – кандидат филологических наук; редактор биографического альманаха «Асоба і час» («Личность и время»), г. Минск, Республика Беларусь.

Любовь Георгиевна Чапаева – доктор филологических наук; профессор кафедры общего и прикладного языкознания Московского педагогического государственного университета.

Editorial Board

Editor-in-Chief

Anton V. Zimmerling – Dr. Phil. Hab., head of the Institute for Modern Linguistic Research, Moscow State University of Education; principal research fellow at the Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences; professor of the Department of General Linguistics and Russian Language, Pushkin State Russian Language; professor of the Department of Computational Linguistics and Formal Models of Language, Moscow State University of Education.

Deputy chief editor

Ekaterina A. Lyutikova – Dr. Phil. Hab. in Philology; associate professor at the Department of Theoretical and Applied Linguistics, Lomonosov Moscow State University; head of the Laboratory of General Linguistics and Grammatical Theory, Institute for Modern Linguistic Research, Moscow State University of Education; professor of the Department of Computational Linguistics and Formal Models of Language, Moscow State University of Education.

Executive secretary

Pavel V. Grashchenkov – PhD in Philology; assistant professor at the Department of Theoretical and Applied Linguistics, Faculty of Philology, Lomonosov Moscow State University; research fellow at the Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences; senior research fellow of the Laboratory of General Linguistics and Grammatical Theory, Institute for Modern Linguistic Research, Moscow State University of Education.

Lyubov G. Chapaeva – Dr. Phil. Hab., professor at the Chair of General and Applied Linguistics, Institute of Philology and Foreign languages, Moscow State University of Education.

Aleksandr Feduta – PhD in Philology; editor-in-chief of the biographical almanac «Personality and Time», Minsk, Belarus.

Elena V. Getmanskaya – Dr. Ped. Hab., professor of the Department of Methods of Teaching Literature, Moscow State University of Education.

Atle Grønn – Dr. Phil. Hab; professor of ILOS – Department of Literature, Area Studies and European Languages, University of Oslo, Norway.

Ilona Kiss – PhD in Philology; chief editor of the Russian Quarter journal of Budapest Eötvös Loránd University; professor of department of the worlds' literatures at the Moscow State University of Education, senior fellow at the Russian Institute for Advanced Studies of Moscow State University of Education.

Pavel Lavrinec – PhD in Philology; Associate Professor, head of the Department of Russian Philology, Vilnius University, Lithuania.

Anatoly Liberman – Dr. Phil. Hab.; professor at the Department of German, Dutch and Scandinavian, The University of Minnesota, USA.

Silvia Luraghi – PhD in Philology; associate professor of the Department of Humanities, Section of General and Applied Linguistics, University of Pavia, Italy.

Nerea Madariaga Pisano – PhD in Philology; Department of Classical Studies (Section of Slavic Philology), University of the Basque Country, Vitoria, Spain.

Mikhail Mikhailov – PhD in Philology; professor, School of Language, Translation and Literary Studies, University of Tampere, Finland.

Igor A. Pilshikov – Dr. Phil. Hab., senior research fellow at the Institute of the World Culture, Lomonosov Moscow State University; editor-in-chief of the Fundamental digital library «Russian literature and folklore».

Vladimir A. Plungian – Dr. Phil. Hab, professor full member of the Russian Academy of Sciences; deputy director of the Vinogradov Institute of Russian Language, Russian Academy of Sciences; head of the sector of typology, Institute of linguistics, Russian Academy of Sciences; professor of the Department of Fundamental and Applied Linguistics, Lomonosov Moscow State University.

Velka A. Popova – PhD in Philology; associate professor of the Department of Bulgarian, research fellow of the Laboratory of Applied Linguistics, Faculty of Humanities, The Constantin of Preslav Bishop Shumen University, Bulgaria.

Natalia V. Serdobolskaya – PhD in Philology; associate professor of the Training and Research Center for Linguistic Typology, Institute of Linguistics, Russian State University for the Humanities; head of the Laboratory of Linguistic Typology, Institute for Modern Linguistic Research, Moscow State University of Education.

Andrej Stojanović – Dr. Phil. Hab, full professor; head of the Department of Foreign Languages, University of Belgrade, Serbia.

Mladen Uhlik – Dr. Phil.Hab, professor; head of the Department of Russian, Institute of Slavic Languages, Faculty of Philosophy, University of Ljubljana, Slovenia.

Tatiana M. Voiteleva – Dr. Ped. Hab, full professor; professor at the Department of the Methods of Teaching Russian Language and Literature, Moscow Region State University.

Suren T. Zolyan – Dr. Phil. Hab., professor and leading research fellow of the Institute of Philosophy and Law Studies, National Academy of Sciences, Yerevan, Armenia; professor of the Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia.

Содержание № 3.2017

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Ю.А. Ростовцева
О смертной казни в «счастливом обществе»: законодательство «кроткой Елисавет» и законничество А.П. Сумарокова 9

В.П. Трыков
Константы «русскости» и эволюция русского культурного сознания в книге Эжена-Мельхиора де Вогюэ «Русский роман» 21

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Е.В. Буденная
Экспансия местоимений в истории русского языка: именные клаузы 40

Э. Бужаровска
Дифференцированное маркирование объекта в юго-западных македонских диалектах Охрида и Струги. 65

Н.М. Заика
Именная акцентуация старосулетинского диалекта баскского языка 88

Ю.Д. Потанина
Сравнительный анализ методик измерения объема рабочей памяти у носителей русского языка (психолингвистическое исследование). 122

Contents № 3.2017

LITERARY CRITICISM

Ju.A. Rostovceva
The death penalty in a «happy society»: the «gentle Elisavet» law and Sumarokov`s legalism 9

V.P. Trykov
Constants of "russianness" and evolution of the Russian cultural consciousness in the Eugene-Melchior de Vogüé's book "The Russian Novel" 21

LINGUISTICS

E. Budennaya
Pronoun expansion in the history of Russian: nominal clauses 40

E. Bužarovska
The Contemporary Use of DOM in South-Western Macedonian Dialects 65

N.M. Zaika
Accentuation of Nouns in Old Souletin Basque 88

Y.D. Potanina
Comparative analysis of methods of measuring the volume of working memory for native speakers of Russian (psycholinguistic research) 122

Ю.А. Ростовцева

Красноярский педагогический университет им. В.П. Астафьева,
660049 г. Красноярск, Российская Федерация

О смертной казни в «счастливом обществе»: законодательство «кроткой Елисавет» и законничество А.П. Сумарокова

Статья посвящена праву изображенного А.П. Сумароковым счастливого общества. Утопия «Сон» написана автором в годы правления Елизаветы Петровны. В исторической памяти государыня осталась как милосердная мать Отечества. Н.М. Карамзин называл ее «самой кроткой» за объявленный императрицей мораторий на смертную казнь. А.П. Сумароков имел другие взгляды на достижение правопорядка в государстве. Свои произведения: оды, «Похвальные слова», утопию «Сон», – он превратил в опровержение беспрецедентного для Европы установления русской императрицы.

Ключевые слова: ода, смертная казнь в эпоху правления Елизаветы Петровны, императрица Елизавета, мораторий на отмену смертной казни, А.П. Сумароков, литературная утопия в XVIII в.

Ju.A. Rostovceva

Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafyev,
Krasnoyarsk, 660049, Russian Federation

The death penalty in a «happy society»: the «gentle Elisavet» law and Sumarokov`s legalism

The paper deals with the laws of a "happy society", which was described by A.P. Sumarokov in his utopia "Dream", written during the reign of Elizabeth. Elizabeth Petrovna is remembered as a "Gentle Empress", who imposed a moratorium

on the death penalty. A.P. Sumarokov had different views on her "perfect legislation". He disputed the laws of "Gentle Elisavet" in his utopia and panegyrical writings.

Key words: ode, death penalty in the reign of Elizabeth, the Empress Elizabeth, moratorium on the death penalty, Sumarokov, utopia as a genre 18th century.

В «Истории одного города» А.Н. Салтыкова-Щедрина есть примечательный персонаж – градоначальник И.М. Великанов, известный тем, что, обложив жителей данью по три копейки с души, предварительно утопил «экономии директора», перебил в кровь множество капитан-исправников и в царствование «кроткия Елисавет», будучи уличен в любовной связи, бит кнутом и, «по урезании языка, сослан в заточение». Само по себе упоминание о «кроткой Елисавет» в контексте всех преступлений Великанова выглядит как указание на беспрецедентное для России правление – без смертной казни. Именно такие ассоциации рождались у потомков при воспоминании об императрице.

Характерно наблюдение историка С.П. Даля: «Въ народѣ долго оставалась память о кротости и привѣтливости дочери Петра Великого. По ея повелѣнію, въ судебныхъ дѣлахъ была отмѣнена смертная казнь» [Даль, 1894, с. 18]. Впоследствии рассказы о государыне приобрели мифопоэтические очертания. Известен исторический анекдот, который сейчас с совершенным обыкновением воспроизводят как русские, так и зарубежные ученые. Суть его в обете Елизаветы никого не казнить в случае своего воцарения [Bryner, 1990, с. 389]. Имела место или нет подобная клятва, сейчас сказать трудно. Как бы то ни было, отмена высшей меры наказания при императрице была засвидетельствована юридически, и явление это не имело аналога в Европе.

Вдохновленный мораторием на смертную казнь в России Чезаре Беккария предлагал «отцам народов» обратиться к блистательному примеру «императрицы Московии Елизаветы I» («О преступлениях и наказаниях») [Беккария, 1995, с. 169]. За четыре года до публикации книги итальянского правоведа (который в значительной мере явился «только выразителемъ и собирателемъ идей, возникших до него и занимавших его современников» [Кистяковский, 1896, с. 178]) А.П. Сумароков издает утопию «Сон. Счастливое общество». Законодательный идеал писателя выражает небольшая «Книга узаконений» мечтательной страны: *чево себѣ не хочешь, тово и другому не желай… за добродѣтель воздаяніе. а за беззаконіе казнь* [Сумароков, 1759, с. 742]. Правовые предпочтения утописта отличает то, что высшая мера наказания провозглашается им в тот период, когда смертная казнь фактически отменена правительством. Попытка увидеть те историко-культурные связи,

которые легли в основу законов «мечтательной страны», составляет предмет данного исследования.

Законы утопического государства Сумарокова неоднократно описывались в научной литературе, однако не становились темой отдельного изучения. Попытка проанализировать «Книгу узаконений» с позиций естественного права принадлежит Л. Геллеру и М. Нике [Геллер, Нике, 2003, с. 88]. С религиозно-этической точки зрения рассматривает право «счастливого общества» Т.В. Артемьева. По ее замечанию, установления сумароковских героев не более чем «кодекс морали» [Артемьева, 2005, с. 185]. В работе А.Д. Тараканової «Русская литературная утопия второй половины XVIII века» правовая норма счастливого общества эксплицируется (в логическом своем пределе) как христианское вероучение [Тараканова, 2009, с. 41]. Между тем, данное наблюдение учитывает только первую часть «Книги узаконений» («чего себе не хочешь, того и другому не желай»), тогда как есть и другая, уже совсем чуждая православной традиции: «За добродетель воздаяние, а за беззакония казнь». Утилитарность как основа законности «счастливого общества» названа в статье Д.В. Бугрова «Политико-правовые идеи в русской социокультурной утопии второй половины XVIII в.»: «Вся система управления основана на принципе общей пользы, государь же “имеет народную любовь, страх и почтение”» [Бугров, 1998, с. 227]. Вопросу наказания Бугров особого внимания не уделяет, поэтому остается невыясненным, каким образом сочетается со смертной казнью триада любовь – почтение – страх.

Любопытное исследование вопроса представляет собой статья И.З. Сермана «Мечтательная страна Александра Сумарокова». Рассматривая произведение в исторической перспективе, автор эксплицирует подтексты, которые были неочевидны при другом подходе. Впервые высказывается предположение, что небольшой объем «Книги узаконений» – это и решение многовековой проблемы наведения порядка во множестве российских законов [Серман, 2000, с. 223]. В особенностях рассмотрения дел великим государем счастливой страны Серман увидел откровенную критику порядков, заведенных при Елизавете. Однако обличительные моменты самодержавной политики правительства были только намечены исследователем. То же, очевидно, следует сказать и о монографии В.И. Мильдона [Мильдон, 2006, с. 15] и учебном пособии А.Г. Алтуняна «Анализ политических текстов» [Алтунян, 2006, с. 100].

Общеизвестно, что в утопическом тексте могут доминировать черты панегирика, или сатиры. К 1860-м гг., когда панегирическая традиция уже осмысляла послепетровскую действительность как *реализованную*

утопию (термин И.А. Калинина), утопическая программа нашла отражение в жанрах, изначально идеологически противоположных, – посвященных монарху хвалебных сочинениях и утопиях [Калинин, 2003, с. 254]. Так, у авторов од, похвальных слов и утопических произведений сформировался единый набор идеологем и риторических приемов, преимущественным из которых было обращение к фигуре преобразователя Петра. В этом смысле «Слово похвальное о государе императоре Петре Великом», оды в честь ее императорского величества Елизаветы Петровны и утопию «Сон. Счастливое общество» можно рассматривать как единое культурное целое.

Сравнение правящей особы с первым императором используют и авторы од, посвященных Елизавете, – В.К. Тредиаковский и А.М. Сумароков. Отношение поэтов к правлению императрицы нередко выражается посредством мотивики страха. Первым из них монархиня прославляется за дарованное спокойствие после устрашающей политики своих предшественников:

Народ тогда колико бедный
Лил теплых к вышнему молитв,
Да взыдет та на трон наследный,
Хоть был ему страх от ловитв
[Тредиаковский, 1963, с. 460].

В этих словах можно увидеть ссылку на два исторических факта: благосклонное отношение всего народа к Елизавете еще до ее восшествия на престол и страх, порожденный в обществе бироновщиной[1].

Следует заметить, что в период правления Елизаветы Петровны Сумароков написал всего четыре похвальных оды, из которых характер данного жанра имеет всего одна. Как только умирает Елизавета, писатель немедленно обращается к торжественной оде [Гуковский, 1939, с. 383]. В произведениях, написанных при жизни Елизаветы, обращают на себя внимание скрытый дидактизм и сравнение с фигурой первого императора. В отличие от Тредиаковского, в «Оде Е. И. В. Всемилостивейшей государыне императрице Елисавете Петровне, самодержице Всероссийской В 25 день ноября 1743» употребляет слово «страх» с положительной семантикой. Страх равносилен могуществу, славе самодержца:

[1] Характерно наблюдение М.И. Семевского о репрессиях тех лет: «На площадяхъ и перекресткахъ явились караулы, по улицамъ столицы расхаживали и разъезжали патрули, шпіоны подслушивали, прокрадывались въ дома, втирались въ семейные кружки и бесѣды задушевныхъ пріятелей, ловили слова налету и доносили патрону» [Семевский, 1859, с. 250]. Ср. у Тредиаковского: «Все без защиты от навета!... Везде обида, всюду страхи» [Тредиаковский, 1963, с. 461].

Взгляни в концы твоей державы…
Весь Север чтит твои уставы…
Что ты Петров воздвигла прах,
Дела его возобновила
И дух его в себе вместила,
Являя свету прежний страх
[Сумароков, 1957, с. 59].

В этих строках, естественно, воспеваются одержанная в русско-шведской войне 1741–1743 гг. победа и подтверждение прежнего «устава» Петра – Ништадтского мирного договора 1721 г. Но кроме этой, основной темы, можно отметить и другую, лейтмотивом проходящую через все посвященные Елизавете оды Сумарокова. Это тихость, кротость императрицы, ее снисхождение к подданным зачастую в урон государственной славе:

Едина лишь Елисавет,
Исполненная днесь любови,
Брежет своих подданных крови
И в тихости свой скиптр берет
[Там же, с. 61].

Слова *прежний страх* и строчки о кротком правлении императрицы, поставленные в один поэтический контекст, рождают новые обертоны смысла. Очевидно, что устрашающая сила монарха в данном случае – тема, выходящая за рамки только военных событий 1740-х гг. Сумароков как бы противопоставляет образ внутренней политики Петра и Елизаветы, отдавая предпочтение первому. Упоминание о «тихом» воцарении монархини (*И в тихости свой скиптр берет*) имело свою историю. Случившееся в 1741 г., оно сопровождалось помилованием всех врагов новой правительницы. «Первыми милостями», как назвал установления Елизаветы С.М. Соловьев, была замена физической казни для Остермана, Миниха, Головкина и других врагов престола на политическую. Случай для петровского времени немыслимый. Согласно Воинскому уставу Петра I, одному из основных юридических документов, смертная казнь могла последовать не только за совершение политического преступления, но и за голый умысел [Артикул, 1986, с. 331].

К 1743 г., когда была написана указанная ода Сумарокова, относится еще одно событие, связанное с темой смертной казни. Речь идет о нашумевшем деле русских солдат, уличенных в мародерстве и убийстве шведов. На приказание императрицы о помиловании виновных Сенат откликнулся неповиновением. Обеспокоенные решением государыни

сенаторы постановили 22 октября 1743 г. (ода Сумарокова написана в ноябре) сохранить смертную казнь, напомнив о том, как часто прибегал к ней император Петр Великий [Писаренко, 2013, с. 164–165]. Подобное напоминание было вполне резонным: цель устрашения, «проводимая не только со строгостью, но даже с жестокостью» [Филиппов, 1891, с. 131], отличала большинство петровских узаконений. Поскольку было признано устрашительное воздействие смертного приговора, ничто не воспрещало угрожать им «за всякаго рода правонарушенія, великія и малыя» [Там же, с. 280].

В конце XVII – начале XVIII вв. идея устрашения достигла в уголовной практике своего апогея. В этом контексте вполне понятно, что с течением времени сторонники высшей меры наказания нередко апеллировали к карательным законам данного периода российской истории[1].

Разумеется, никакой «прежний страх» императрица не думала возвращать. Елизавете вовсе была чужда идея устрашения, господствовавшая в уголовной практике еще среди ближних преемников Петра. Но договориться с Сенатом в этом деле оказалось непросто. Вопрос оставался открытым вплоть до издания в 1744 г. закона, провозглашающего отмену высшей меры наказания прежде решения Сената [ПСЗРИ, 1830, с. 114]. Не совсем правомерным поэтому можно считать замечание Е.В. Анисимова о том, что фактическая отмена смертной казни была объявлена уже в 1741 г. [Анисимов, 1999, с. 538].

Спустя год после издания закона Сумароков пишет «Оду Государыне Императрице Елизавете первой. На день Ея рождения». Привлекая в качестве контрастного фона фигуру первого преобразователя Петра, поэт использует прежний инструментарий – мотив страха. Страх, внушаемый подданным самодержавной властью, тождественен славе монарха. Избрав правление милости, Елизавета тем самым обрекла себя на довольство собственною славой, тогда как могла восприять славу своего отца:

Не ищешь ты войны кровавой,
И подданныхъ своихъ щадишь,
Довольствуясь своею славой,
Спокойства смертныхъ не врѣдишь

[Сумароков, 1781а, с. 14].

[1] Так, приговаривая А.Н. Радищева к смертной казни, Сенат был вынужден заручиться ссылками на Соборное уложение, Воинский и Морской уставы Петра Великого. То же следует сказать и о деле декабристов.

При помощи панегирической риторики (*нельзя хвалы умножить болѣ*) автор усиливает мотив зависимости славы самодержицы от страха, производимого ею в свете:

Сѣдящія на семъ престолѣ
Нельзя хвалы умножить болѣ,
Ни свѣта усугубить страхъ

[Сумароков, 1781а, с. 14].

Чуть ниже поучительный элемент Оды Сумарокова получает свое конечное выражение в образе Петербурга:

Оттоль Монархиня взираешь,
На градъ Петровъ, на свой престолъ…
Въ семъ мѣстѣ было прежде блато,
Теперь сіяетъ тамо злато,
На башняхъ росскаго творца,
Нева средь пышна града льется,
Отколѣ ехо раздается
О славѣ моего отца

[Там же, с. 17].

Среди золотобашенного города, бывшего некогда *блатом*, звучит эхо прославления Великого Петра, а Елизавета осталась неприобщенной к этой славе. В «Слове похвальном о государе императоре Петре Великом, сочиненном ко дню тезоименитства Ея Императорского Величества» (1759) поэт предлагает императрице путь, возводящий к добродетели ее отца.

Сам по себе панегирический текст, написанный в честь одного монарха по случаю тезоименитства другого, «прочитывался» как наставление, руководство к подражанию. Знаменательно, что произведение начинается с темы смертной казни. Дихотомия «суд царский – суд божий» проецируется у Сумарокова в оправдание смертной казни самим Всевышним существом. В стремлении обосновать высшую меру наказания автор заручается авторитетом Писания, но остается в рамках ветхозаветного, *законнического* (термин И.А. Есаулова) понимания. «Начертанный въ сердцахъ нашихъ законъ, и той же законъ изображенный во Священномъ писаніи, не тягостенъ добродѣтельной душѣ, и жестокосудія въ немъ не видно. Казни за беззаконія суть орудія привлекающія насъ на пути добродѣтели. Воздаяніе и наказаніе праведнаго судіи не превосходятъ мѣръ заслугъ и преступленія» [Сумароков, 1781с, с. 245–246]. Используя противопоставление исторической (данной) и поэтической (желаемой) реальности, автор обращается к Елизавете со словами:

«Тако царствовалъ над нами Великій ПЕТРЪ, тако царствуешъ над нами и Ты Великая ЕЛИСАВЕТА» [Сумароков, 1781с, с. 246]. Смысл данного выражения Сумарокова должен был прочитываться вполне очевидно как призыв к введению смертного наказания. И здесь в который раз хвала отождествляется с темой страха. В частности, один из главных выводов Сумарокова заключается в том, что российское общество стало счастливым благодаря устрашающей политике Петра. «Подражай, Великая Государыня, подражай всегда великому Твоему Родителю, Основателю нашего щастія, Основателю нашея славы» [Там же, с. 247].

Истинное счастье и благоденствие автор изображает в утопии «Сон. Счастливое общество», написанной в том же 1759 г. Памфлет Сумарокова вновь отсылает читателя к идеалам петровских времен. В «мечтательной стране» Сумарокова чины даются по достоинствам: *Не имѣютъ тамо люди ни благородства*, *ни подлородства*, *и преимуществуютъ по чинамъ*, *даннымъ имъ по ихъ достоинствамъ* [Сумароков, 1759, с. 741], точно так же, как это было регламентировано петровской табелью о рангах [Серман, 2000, с. 221]. Это очевидное противопоставление желаемого и действительного возрождало прежнюю антитезу «Петр – Елизавета»: рассказ Сумарокова воспринимался как критика политики последней. По словам Сермана, «Уже “неусыпное попечение” “великого человека” (т.е. государя. – *Ю.Р.*), для всех, кому известно было почти патологическое нежелание Елизаветы заниматься делами по управлению государством, звучало злой иронией» [Там же, с. 222–223]. В отличие от своего родителя, Елизавета действительно не отличалась вовлеченностью в государственные дела. Характерна оценка ее деятельности саксонским посланником в России: «Не желая, чтобы что-нибудь мешало проводить время так, как ей вздумается, государыня терпеть не может государственных дел, удаляется от них или рассматривает чрезвычайно небрежно и зачастую в досаде, что ей мешают, назначает приговоры с ужаснейшей строгостью» [Елизавета Петровна, 2016, с. 21]. Таким образом, у писателя вполне могли быть причины упрекать Елизавету в некотором бездействии. В особенности же это справедливо в отношении судебных дел о присуждении смертной казни. По замечанию К.А. Писаренко, Елизавета явно умышленно избегала изучения бумаг, связанных с высшей мерой наказания. Факт этот был широко известен, т.к. число приговоренных к казни или ожидавших приговора «росло день ото дня» [Писаренко, 2013, с. 165].

Кроме означенной имплицитной критики, очевидно, следует назвать и провозглашенную законом «счастливого общества» смертную казнь: за добродетель – воздаяние, за беззакония – казнь. Здесь, как и в «Слове похвальном о государе императоре Петре Великом», Сумароков предлагает Елизавете обратиться к примеру своего родителя. В *мечтательной*

стране, как и в петровской России, присутствует факт безграничного назначения смертной казни. Злодеяния не делятся на тяжкие и средние. Понятие «беззаконие» трактуется крайне широко. Непонятно, к примеру, где заканчивается «беззаконие» и начинается «преступление». В «счастливом обществе» Сумарокова, как и в карательной системе уголовного законодательства Петра I, на первом месте «не интенсивность злой воли, высказавшейся въ правонарушеніи…но *ослушаніе*» закона, которое и наказуется [Загоскин, 1892, с. 59]. За *всякое* преступление – смертная казнь. Устрашительная политика оценивается автором безусловно положительно. С ее помощью государь счастливой страны смог даровать своим подданным благоденствие.

Именно благодаря репрессивной политике, а не в силу того, что источником законов «счастливого общества» является христианское вероучение, как считает А.Д. Тараканова [Тараканова, 2009, с. 41], преступности в идеальном государстве нет. Законы утопического общества приравнены к божественным установлениям. Но религия Сумарокова не имеет ничего общего с православием, хотя бы потому, что *истина* (курсив мой. – *Ю.Р.*) священного и, стало быть, гражданского закона «счастливого общества» находится за пределами христианской милости: *Не судьи тамо страшны*, *но судъ*, *который основанъ на узаконеніяхъ*, *а узаконенія на истиннѣ* [Сумароков, 1759, с. 745].

Примечательно, что, имея совершенно законническое понятие о суде и милосердии Божии, писатель и в 1780-х гг. высказывается в пользу присутствия смертной казни в карательной системе уголовного законодательства. В 1787 г. он создает публицистический трактат «О казни», в котором повторяет озвученное ранее в «Похвальном слове» представление о милосердии: «Казни убійцѣ ради образца нужны; но истина и человѣколюбіе не образца единаго, но и отомщенія требуютъ» [Сумароков, 1781b, с. 332].Таким образом, уже к концу XVIII в. и, следовательно, после моратория на смертную казнь в России и выхода в свет книги выдающегося итальянского правоведа и гуманиста Ч. Беккарии понятие о человеколюбии у Сумарокова гораздо более связано с идеей устрашения.

По наблюдению К. Бринер, «российская общественность, по крайней мере, ее самые активные и либеральные сословия – священство и поэты – восприняли отмену смертной казни… как акт личной милости монарха» [Bryner, 1990, с. 390]. Очевидно, Сумарокова нельзя отнести к этому разряду людей. У литератора было совершенно свое, особое понимание жестокости. «Жестокосердыми» именует он тех, которые представляют легкомысленным людям Бога, благоволящего о соразмерном воздаянии за беззакония, как грозного судью. Иными словами, в мировоззренческой системе Сумарокова смертная казнь представляется провиденциальной, противники ее – «жестокосердными». Как следствие,

жестокосердной представляется сама Елизавета. Государыня, которую Н.М. Карамзин в свое время («Записка о древней и новой России») назвал «самой кроткой».

Библиографический список / References

Алтунян, 2006 – Алтунян А. Г. Анализ политических текстов: Учебное пособие. М., 2006. [Altunyan A.G. Analiz politicheskikh tekstov [Analysis of political texts]. Textbook. Moscow, 2006.]

Анисимов, 1999 – Анисимов Е.В. Дыба и кнут. Политический сыск и русское общество в XVIII веке. М., 1999. [Anisimov E.V. Dyba i knut. Politicheskii sysk i russkoe obshchestvo v XVIII veke [A rack and a whip. Political police and Russian society in the XVIII century]. Moscow, 1999.]

Артемьева, 2005 – Артемьева Т.В. От славного прошлого к светлому будущему: Философия истории и утопии в России эпохи Просвещения. СПб., 2005. [Artem'eva T.V. Ot slavnogo proshlogo k svetlomu budushchemu: Filosofiya istorii i utopii v Rossii epokhi Prosveshcheniya [From a glorious past to a bright future: Philosophy of history and utopia in Russia in the age of Enlightenment]. St. Petersburg, 2005.]

Артикул, 1986 – Артикул воинский // Российское законодательство X–XX веков в девяти томах. Т. 4. Законодательство периода становления абсолютизма. М., 1986. [Marking military. *Rossiiskoe zakonodatel'stvo X–XX vekov v devyati tomakh.* Vol. 4. Zakonodatel'stvo perioda stanovleniya absolyutizma. Moscow, 1986.]

Беккария, 1995 – Беккария Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1995. [Bekkariya Ch. O prestupleniyakh i nakazaniyakh. [On crimes and punishments.] Moscow, 1995.]

Бугров, 1998 – Бугров Д.В. Политико-правовые идеи в русской социокультурной утопии второй половины XVIII в. // Проблемы истории России. Вып. 2. Опыт государственного строительства XV–XX вв. Екатеринбург, 1998. С. 226–234. [Bugrov D.V. Political and legal ideas in Russian socio-cultural utopia of the second half of the eighteenth century. *Problemy istorii Rossii.* Vol. 2. Opyt gosudarstvennogo stroitel'stva XV–XX vv. Ekaterinburg, 1998. Pp. 226–234.]

Геллер, Нике, 2003 – Геллер Л., Нике М. Утопия в России. СПб., 2003. [Geller L., Nike M. Utopiya v Rossii [Utopia in Russia]. St. Petersburg, 2003.]

Гуковский, 1939 – Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века: Учебник для высших учебных заведений. М., 1939. [Gukovskii G.A. Russkaya literaturnaya XVIII veka [Russian literature of the XVIII century]: Textbook for higher educational institutions. Moscow, 1939.]

Даль, 1894 – Даль С.П. Императрица Елизавета Петровна. Рассказы из русской истории. М., 1894. [Dal' S.P. Imperatritsa Elizaveta Petrovna. Rasskazy iz russkoi istorii [Empress Elizaveta Petrovna. Stories from Russian history]. Moscow, 1894.]

Загоскин, 1892 – Загоскин Н.П. Очерк истории смертной казни в России. Казань, 1892. [Zagoskin N.P. Ocherk istorii smertnoi kazni v Rossii [Essay on the history of the death penalty in Russia]. Kazan, 1892.]

Калинин, 2003 – Калинин И.А. Слепота и прозрение. Риторика истории России и «Риторика темпоральности» Поля де Мана // Новое литературное обозрение. 2003. № 59 (1). С. 250–273. [Kalinin I.A. Blindness and insight. The rhetoric of history «Rhetoric of temporality» Paul de Man. *New literary observer*. 2003. Vol. 59 (1). Pp. 250–273.]

Кистяковский, 1896 – Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной казни. СПб., 1896. [Kistyakovskii A.F. Issledovanie o smertnoi kazni [A study on the death penalty]. St. Petersburg, 1896.]

Елизавета Петровна, 2016 – Елизавета Петровна. Беззаботная императрица. Годы правления 1741–1761. *Князья, цари и императоры России.* М., 2016. № 7. [Elizabeth. Carefree Empress. Thereignof 1741–1761. *Knyaz'ya, tsari i imperatory Rossii.* Moscow, 2016. Vol. 7.]

Мильдон, 2006 – Мильдон В. Санскрит во льдах, или возвращение из Офира: Очерк русской литературной утопии и утопического сознания. М., 2006. [Mil'don V. Sanskrit vo l'dakh, ili vozrashchenie iz Ofira: Ocherk russkoi literaturnoi utopii i utopicheskogo soznaniya [Sanskrit in the ice, or the return from Ophir: Essay Russian literary utopia and utopian consciousness]. Moscow, 2006.]

Писаренко, 2013 – Писаренко К.А. Елизавета Петровна: наследница петровских времен. М., 2013. [Pisarenko K.A. Elizaveta Petrovna: naslednitsa petrovskikh vremen [Elizabeth: heiress of Peter's time]. Moscow, 2013.]

ПСЗРИ, 1830 – Полное собрание законов Российской империи с 1649 года до 1830. Т. XII. СПб., 1830. [Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii s 1649 goda do 1830 [Complete collection of laws of Russian Empire from 1649 to 1830]. Vol. XII. St. Petersburg, 1830.]

Серман, 2000 – Серман И.З. Мечтательная страна Александра Сумарокова // Философский век. Альманах 13. Российская утопия эпохи Просвещения и традиции мирового утопизма. Материалы Международной конференции 27–28 июля 2000 г. Санкт-Петербург, 2000. С. 216–224. [Serman I.Z. Dreamy country of Alexander Sumarokov. *Filosofskii vek. Al'manakh 13. Rossiiskaya utopiya epokhi Prosveshcheniya i traditsii mirovogo utopizma. Materialy Mezhdunarodnoi konferentsii 27–28 iyulya 2000 g*. St. Petersburg, 2000. Pp. 216–224.]

Семевский, 1859 – Семевский М.И. Елизавета Петровна до восшествия своего на престол. 1709–1741 // Русское слово. Литературно-ученый журнал. 1859. Февраль. С. 209–277. [Semevskii M.I. Elizabeth before her accession to the throne. 1709–1741. *Russkoe slovo.* 1859. February. Pp. 209–277.]

Сумароков, 1759 – Сумароков А.П. Сон. Счастливое общество // Трудолюбивая пчела. 1759. Декабрь. С. 728–741. [Sumarokov A.P. Son. Schastlivoe obshchestvo [Sleep. A happy society]. *Trudolyubivaya pchela.* 1759. December. Pp. 728–741.]

Сумароков, 1781a – Сумароков А.П. Ода Государыне Императрице Елизавете первой. На день Ея рождения, 1755 года, Декабря 18 дня // Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе покойного действительного статского советника, ордена св. Анны Кавалера и Лейпцигского Ученого Собрания Члена Александра Петровича Сумарокова. Ч. II. М., 1781. С. 13–19. [Sumarokov A.P. Oda Gosudaryne Imperatritse Elizavete pervoi. Na den' Eya rozhdeniya, 1755 goda, Dekabrya 18 dnya [Ode in honour of the Empress Elizabeth the first. On the day of Herbirth, 18 December 1755 year]. *Polnoe sobranie vsekh sochinenii v stikhakh i proze pokoinogo deistvitel'nogo statskogo sovetnika, ordena sv. Anny Kavalera i Leiptsigskogo Uchenogo Sobraniya Chlena Aleksandra Petrovicha Sumarokova*. Part 2. Moscow, 1781. Pp. 13–19.]

Сумароков, 1781b – Сумароков А.П. О казни // Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе покойного действительного статского советника, ордена св. Анны Кавалера и Лейпцигского Ученого Собрания Члена Александра Петровича Сумарокова. Ч. II. М., 1781. С. 331–334. [Sumarokov A.P. O kazni [Execution]. *Polnoe sobranie vsekh sochinenii v stikhakh i proze pokoinogo deistvitel'nogo statskogo sovetnika, ordena sv. Anny Kavalera i Leiptsigskogo Uchenogo Sobraniya Chlena Aleksandra Petrovicha Sumarokova*. Part 2. Moscow. 1781. Pp. 331–334.]

Сумароков, 1781c – Сумароков А.П. Слово похвальное о государе императоре Петре Великом, сочиненное ко дню тезоименитства Ея императорского величества // Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе покойного действительного статского советника, ордена св. Анны Кавалера

и Лейпцигского Ученого Собрания Члена Александра Петровича Сумарокова. Ч. II. М., 1781. С. 243–258. [Sumarokov A.P. Slovo pokhval'noe o gosudare imperatore Petre Velikom, sochinennoe ko dnyu tezoimenitstva Eya imperatorskogo velichestva [The laudation of the sovereign Emperor Peter the Great, composed for the name day of the day of Her Imperial Majesty]. *Polnoe sobranie vsekh sochinenii v stikhakh i proze pokoinogo deistvitel'nogo statskogo sovetnika, ordena sv. Anny Kavalera i Leiptsigskogo Uchenogo Sobraniya Chlena Aleksandra Petrovicha Sumarokova*. Part II. Moscow, 1781. Pp. 243–258.]

Сумароков, 1957 – Сумароков А.П. Ода Е. И. В. Всемилостивейшеи государыне императрице Елисавете Петровне, самодержице всероссийской // Сумароков А.П. Избр. произведения. Л., 1957. [Sumarokov A.P. Oda E.I.V. Vsemilostiveishei gosudaryne imperatritse Elisavete Petrovne, samoderzhitse vserossiiskoi [Ode to the Empress Elizabeth the first. On the day of Her birth, December 18, 1755 year]. *Sumarokov A.P. Izbrannye proizvedeniya*. Leningrad, 1957.]

Тараканова, 2009 – Тараканова А.Д. Русская литературная утопия второй половины XVIII века // Ученые записки Казанского государственного университета. 2009. Т. 151. Кн. 3. С. 39–46. [Tarakanova A.D. Russian literary utopia of the second half of the XVIII century. *Uchenye zapiski Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta*. 2009. Book 3. Vol. 151. Pp. 39–46.]

Тредиаковский В.К. Императрице Елизавете Петровне в день ее коронования // Тредиаковский В.К. Избр. произведения / Вступ. ст. и подготовка текста Л.И. Тимофеева. М.-Л., 1963. С. 458–464. [Trediakovskij V.K. Imperatrice Elizavete Petrovne v den' ee koronovanija [Empress Elizabeth Petrovna on the day of her coronation]. Trediakovskij V.K. Izbrannye proizvedenija. Moscow-Leningrad, 1963. Pp. 458–464.]

Филиппов, 1891 – Филиппов А. О наказании по законодательству Петра Великого в связи с реформою. Историко-юридическое исследование // Ученые записки Императорского Московского университета. Отдел юридический. М., 1891. Вып. седьмой. С. 54–61. [Filippov A. The punishment under the law of Peter the Great in connection with the reform. Historical-legal research. *Uchenye zapiski Imperatorskogo Moskovskogo universiteta. Otdel yuridicheskii.* 1891. Vol. 7. Pp. 54–61.]

Bryner, 1990 – Bryner C. The Issue of Capital Punishment in the Rein of Elizabeth Petrovna. *The Russian Review*. 1990. Vol. 49. Pp. 389–416.

Статья поступила в редакцию 12.05.2017

The article was received on 12.05.2017

Ростовцева Юлия Александровна – аспирант кафедры мировой литературы и методики ее преподавания, Красноярский педагогический университет им. В.П. Астафьева

Rostovceva Julija A. – Postgraduate Student of Chair of World Literature and its Teaching Methods, Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafyev, Krasnoyars, Russian Federation

E-mail: rostoyuliya@yandex.ru

В.П. Трыков

Московский педагогический государственный университет,
119991 г. Москва, Российская Федерация

Константы «русскости» и эволюция русского культурного сознания в книге Эжена-Мельхиора де Вогюэ «Русский роман»

В статье исследуется структура образа русских в книге французского писателя и дипломата Эжена-Мельхиора де Вогюэ (1848–1910) «Русский роман» (1886), выявлено влияние биографического метода и культурно-исторической школы на конструирование образа у Вогюэ. Доказано, что фильтрами репрезентации «русскости» в книге явился, с одной стороны, «неомистицизм» Вогюэ, формировавшийся в рамках «католического возрождения» во Франции на рубеже XIX–XX вв., а с другой – «французский стандарт», традиционный для французской культуры идеал меры и рациональности. Определен статус Вогюэ во французском дискурсе о России как писателя, противопоставившего стереотипным представлениям о русских «варварах», «рабах» и «азиатах» сложный образ русских, синтезирующий как положительные (мистицизм, синтетизм, доброта и человечность), так и отрицательные (склонность к крайностям, отчаянию, нигилизму, недостаток уравновешенности и рациональности) черты русского характера и миросозерцания, впервые предложившего рассматривать русскую литературу как нравственный и эстетический образец, на который следует ориентироваться писателям Запада. Вместе с тем показана ограниченность историзма Вогюэ, его склонность к мифологизации «русской души».

Ключевые слова: «русскость», «русская душа», биографический метод, культурно-историческая школа, «католическое возрождение», «неомистицизм», «Русский роман» Э.-М. де Вогюэ.

V.P. Trykov

Moscow State University of Education,
Moscow, 119991, Russian Federation

Constants of "russianness" and evolution of the Russian cultural consciousness in the Eugene-Melchior de Vogüé's book "The Russian Novel"

This article examines the structure of the image of Russian in the book of the French writer and diplomat Eugene-Melchior de Vogüé (1848–1910) "Russian novel" (1886), the influence of the biographical method and the cultural-historical school on the construction of an image from Vogüé. It is proved that the filters of the representation of the "russianness" in the book was, on the one hand, "neomysticism" of Vogüé, formed in the framework of the "Catholic Renaissance" in France in the XIX–XX centuries, and on the other, "the French standard", traditional French culture ideal of proportion and rationality. Defines the status of Vogüé in the French discourse about Russia as a writer, opposing the stereotypical notions of the Russian "barbarians", "slaves" and "Asians" complex image Russian, synthesizing both positive (mysticism, synthetism, kindness and humanity) and negative (tendency to extremes, despair, nihilism, lack of balance and rationality) features of the Russian character and worldview for the first time proposed to consider the Russian literature as a moral and aesthetic specimen, which should be oriented writers of the West. However, shown the limitations of historicism, Vogüé, his penchant for mythologizing of the "Russian soul".

Key words: "russianess", "Russian soul", biographical method, cultural-historical school, "catholic revival", "neomysticism", "The Russian Novel" by E.-M. de Vogüé.

Существенный вклад в формирование образа России и русских в западном сознании на рубеже XIX–XX вв. внес французский дипломат и литератор Эжен-Мельхиор де Вогюэ (1848–1910). Парадокс, но о писателе, с искренним интересом и доброжелательностью писавшем о России, способствовавшем популяризации русской литературы во Франции и за ее пределами, в отечественном литературоведении почти ничего не написано. Более того, самая известная книга Вогюэ «Русский роман» (1886) никогда полностью не переводилась на русский язык, в то время как «Россия в 1839 году» Астольфа де Кюстина, литератора, мягко говоря, без особой симпатии относившегося к нашей стране, удостоилась многочисленных изданий, сначала в сокращенном варианте, а в 1996 г. в издательстве имени Сабашниковых вышел ее полный двухтомный перевод. Эту несправедливость по отношению к Вогюэ хотелось бы, хотя бы отчасти, исправить в настоящей статье.

Ближайшей и наиболее проницательной предшественницей Вогюэ в изучении «русской души» была Жермена де Сталь. Французский литературовед Шарль Корбе писал: «Мадам де Сталь добилась большого прогресса в постижении русского народа. Она чувствовала его душу. Однако она смотрела на Россию извне. Она не увидела и не почувствовала ее изнутри. Между тем нельзя полностью понять народ, глядя на него извне. Новое отношение к русским, которое она привнесла в литературу, было намного более важным, чем то, чего еще недоставало писательнице, но нужно будет ждать еще очень долго, прежде чем появятся французы, интуитивно открытые русской душе» [Corbet, 1967, p. 109–110]. Одним из таких французов, несомненно, оказался Вогюэ, проживший в России шесть лет и знавший страну изнутри.

В предисловии к своей книге «Русский роман» (1886) он писал, что хочет «раскрыть тайну этой загадочной страны − России» [Vogüé, 1886, p. X]. Несмотря на название, книга «Русский роман» задумывалась Вогюэ не как литературоведческое исследование. Замысел был значительно шире, о чем свидетельствуют и некоторые структурные особенности книги. Кроме глав о четырех крупнейших русских романистах (Гоголе, Тургеневе, Толстом, Достоевском), она содержит разделы о средневековой русской литературе, о Пушкине и романтической поэзии. Вогюэ не ограничивался задачей дать обзор основных фигур и этапов развития русского романа, но искал в литературных памятниках разных эпох истоки «тайны» русской души. Однако, по мнению Вогюэ, наиболее полным ее выражением стал именно роман. «В русском романе и только в нем читатель найдет историю России последних пятидесяти лет», – утверждал Вогюэ [Там же, p. X]. При этом под «историей России» Вогюэ понимал *les évolutions morales* («нравственное развитие»),

ту эволюцию, которую претерпела «русская душа» в XIX в. под влиянием исторических обстоятельств и различных идей: «Не очень заботясь о правилах литературной композиции, я должен был собрать все, что служило моему замыслу: биографические факты, личные воспоминания, исторические и политические экскурсы, без чего нельзя было бы понять нравственной эволюции этой сокровенной страны» [Vogüé, 1886, p. X].

«Русскую душу» Вогюэ будет искать и в личностных, психологических особенностях русских писателей, в каждом из которых, по мнению Вогюэ, будет отражаться какая-то ее черта, и в персонажах, созданных их воображением и воплощающих характерные черты русского народа, и в своих личных впечатлениях от увиденного в России. Осмысливая свой метод, Вогюэ писал: «Наше любопытство направлено на писателя как человека. Познав в писателе человека, мы приблизимся к постижению тайны расы. Признанный соотечественниками писатель предстает перед нами как хранитель, которому народ на какое-то время доверил свою душу. Чего хочет народная душа в данный момент? Какова историческая роль ее хранителя? В какой мере он подготовил ее последующие изменения? Вот что я попытаюсь изучить в произведениях Гоголя» [Vogüé, 1886, p. 71].

Таким образом, Вогюэ взял на вооружение методологию сразу двух школ французского литературоведения: биографический метод Ш.-О. Сент-Бёва, стремившегося в своих литературных портретах «найти в поэте человека», и принципы культурно-исторической школы (И. Тэн, Ф. Брюнетьер), для которой литература всего лишь документ, свидетельство о «расе», «среде» и «моменте», социокультурном и нравственно-психологическом состоянии нации, выражение ее духа.

Доминантой «русскости» у Вогюэ становится «мистицизм», который писатель считал «существенным элементом русской души» [Там же, p. 30]. Нигде на страницах книги Вогюэ не разъясняет, какой смысл он вкладывает в это понятие. Так, проявлением мистицизма у Гоголя стал отказ писателя от искусства в пользу религии, его глубокая озабоченность религиозными вопросами, прежде всего в «Выбранных местах…». Однако религиозность – лишь одна, и вовсе не обязательная, составляющая русского «мистицизма». Этой гоголевской открытой религиозности и защиты церкви Вогюэ не обнаруживает, например, у И.С. Тургенева, которого, тем не менее, считал «воплощением главных качества русского народа» [Там же, p. 148]. У Ф.М. Достоевского «мистицизм» проявляется в иррациональном культе страдания, свойственном, по мысли Вогюэ, всем русским, которые «ищут страдания ради него самого, как способа искупления грехов» [Там же, p. 228].

По мнению Вогюэ, поздний Л.Н. Толстой разочаровался в возможностях разума, отказался от пантеизма, который, в сущности, «есть еще одна попытка рационального объяснения мира» [Vogüé, 1886, p. 288] и был «очарован мистицизмом, который давно подстерегал его беспокойную душу; нигилист вдруг припал к стопам Бога, какого Бога, мы скоро увидим» [Там же, p. 283]. Проявление «мистицизма» Вогюэ видит в широком распространении франкмасонства в русском образованном классе эпохи Александра I. Для многих представителей тогдашней русской элиты «мистицизм» был «смутным протестом души против негативной философии энциклопедистов, торжества рационализма», – утверждает Вогюэ [Там же, p. 31]. Показательно, что Вогюэ отказывает Пушкину в чести быть выразителем «русской души» прежде всего на том основании, что в творчестве поэта «нет и тени мистицизма», а «религиозное чувство для него всего лишь поэтическое средство» [Там же, p. 48].

Таким образом, обобщая, можно заключить, что «мистицизм», в трактовке Вогюэ, – особая душевная настроенность, когда чувство, интуиция, воображение, вера превалируют над разумом. Одновременно это и утверждение доминирующего положения иррационального начала в системе ценностей, и признание чего-то, что выше отдельной личности, некоего условного Бога. Русским свойственен «вкус к абсолютному» (*le goût de l'absolu*), утраченный, как полагал Вогюэ, Западной Европой под воздействием просветительской идеологии с ее культом Разума и самоопределяющейся личности [Там же, p. XIX].

В своей критике Просвещения Вогюэ выступает продолжателем традиции французской консервативной мысли (Л. Бональд, Ж. де Местр, Ф. Брюнетьер и др.), критиковавшей просветителей, которых Жозеф де Местр в своих «Четырех неизданных главах о России» презрительно называл «отвратительной сектой» [Местр, 2007, с. 42]. Вогюэ более сдержан: он называет французских просветителей родоначальниками «нового сознания» (*l'esprit nouveau*), но столь же критичен, как и его предшественник. Правда, Вогюэ, в отличие от Ж. де Местра, волнуют не политические, а культурные и эстетические последствия торжества просветительской идеологии. «Новое сознание», утратившее «вкус к абсолютному», основанное на культе Разума и индивидуума, привело к кризису в культуре. С «новым сознанием» у Вогюэ связана семантика «дробности», «мелкости», «ничтожности» и «падения». Современность – «эпоха микробов». «Науки передали управление вселенной атомам» [Vogüé, 1886, p. XV]. «…Анализ физических и нравственных явлений расчленил и, так сказать, раскрошил прежний фундамент; объяснение географических и исторических потрясений, а также

трансформаций человеческой души внезапными и простыми факторами, действовавшими как проявления высшей силы, было вытеснено представлением о постоянной эволюции ничтожных и непонятных сущностей. Двинувшись по этому склону, современный дух неминуемо катится под откос» [Vogüé, 1886, p. XV]. Холодный, бездушный аналитизм, в котором Вогюэ упрекал современный ему французский роман, – следствие и репрезентация общего кризиса европейской культуры в литературной сфере.

Рационализму Запада, наследовавшего просветительскую традицию, а вместе с ней склонность к анализу и всем разновидностям дробности, обособленности, Вогюэ противопоставил свойственный, по мнению писателя, русским «мистицизм» и его интеллектуальную проекцию, особенность русского склада мышления – синтетизм, умение видеть мир как единство. Высшим проявлением этой русской черты стал гений Л.Н. Толстого: «Толстой, этот тончайший аналитик, пренебрегает первой операцией анализа, столь привычной для французского гения; мы хотим, чтобы романист сначала произвел отбор, чтобы он вычленил персонажа, событие из множества существ и предметов, чтобы затем сделать этот отобранный объект предметом изучения. Русский, которому в высшей степени свойственно ощущение всеобщей взаимозависимости (*la dépendance universelle*) не решится разорвать тысячу связей, которые связывают человека, действие, мысль в единую цепь бытия; он никогда не забывает, что все связано со всем» [Там же, p. 295].

Вогюэ осмысливал русскую литературу в широкой философской перспективе, видел в ней весомый аргумент в споре о природе человека, его месте в мироздании и отношениях с Богом. Писатель полагал, что все современные ему литературные и эстетические разногласия суть проявления этого идейного конфликта эпохи, одной стороной которого выступают современные последователи просветителей, отстаивающие культ Разума, свободной, самоопределяющейся личности и нравственный релятивизм, а другой – «неомистики», верящие в существование Абсолюта и единых нравственных норм [Там же, p. XIII]. Вогюэ был одним из таких «неомистиков», тех, кто стоял у истоков «католического возрождения» во Франции. Жан Кальве в монографии «Католическое возрождение в современной литературе» (1927) характеризует Вогюэ как «серьезного и вдумчивого писателя», критика современной жизни и нравов, «вдохновлявшегося самым подлинным и искренним христианским чувством» [Calvet, 1927, p. 136]. Оттого так импонировал Вогюэ «мистицизм» русских, в котором писатель видел противоядие против западного рационализма и его крайнего выражения – современного ему позитивизма. Вогюэ полагал, что русский роман в этом споре века,

в этом «великом процессе» над рационализмом и позитивизмом, выступил с более вескими аргументами, чем те, что выдвигал Запад [Vogüé, 1886, p. XIII].

Следствием мистической настроенности русских становятся как некоторые лучшие их качества, так и недостатки. К первым, несомненно, относятся человечность, доброта, способность к состраданию. В «Мертвых душах» Гоголя под налетом сарказма Вогюэ ощущает «чувство евангельского братства», «любовь к униженным и сочувствие к страждущим» [Там же, p. 117]. Всем русским романистам свойственно «милосердие, более-менее активное у Тургенева и Толстого, исступленное у Достоевского, доходящее до мучительной страсти» [Там же, p. XLV]. В этом отношении, полагает автор «Русского романа», все они «остаются христианами» [Там же, p. XLV]. И.С. Тургенев «воплощал в себе главные качества русского народа: наивную доброту, простоту и смирение» [Там же, p. 148]. По мысли Вогюэ, Ф.М. Достоевского привлекли в кружок Петрашевского «мистицизм», «сострадание», которые «он смог извлечь из политической доктрины социалистов» [Там же, p. 218].

Эти качества русских находят свое выражение не только в личностях писателей, в их психологических особенностях, но и в их творчестве, в подходах к изображению человека: «…Русские писатели … никогда не разоблачают открыто, они ничего не доказывают, не разглагольствуют; они просто изображают, не делая никаких выводов, и взывают более к состраданию, нежели к осуждению <…> Это в высшей степени национальная черта» [Там же, p. 163–164].

«Русскость» проявляется и в персонажах, созданных воображением русских романистов. Таков Макар Девушкин, сохранивший под бесцветной оболочкой «сердце ребенка, такое простодушное, такое преданное, … столь свято-глуповатое в своем возвышенном самопожертвовании!» [Там же, p. 210]. Таков и солдат-охранник в «Записках из Мертвого дома», сочувствующий участи ссыльных. Это и тургеневские девушки, ставшие «прототипами всех героинь русского романа» со свойственной им «душевной грацией, сильной волей, честностью и душевной чистотой» [Там же, p. 169].

К наблюдениям над поэтикой русского романа и его типажами Вогюэ присовокупляет рассказ о некоторых эпизодах из российской действительности, свидетелем которых он стал. Так, например, Вогюэ рассказывает о том, как однажды в Орле он был свидетелем гражданской казни у позорного столба. Когда повозка стала увозить осужденных по окончании наказания, присутствующие устремились за ними, осыпая несчастных монетами, провизией и выражая им свое сочувствие [Там же, p. 164].

Суммарный образ русских, каким он сложился во французской литературе до Вогюэ, – «варвары», «рабы», «азиаты», «еретики», стоящие на более низкой ступени цивилизации, по сравнению с народами Западной Европы; храбрые и стойкие воины, представляющие угрозу для Европы, угнетатели Польши [см. Строев, 1999; Ощепков, 2010; Lortholary, 1951; Mansuy, 1912; Corbet, 1967]. В лучшем случае часть французской элиты (преимущественно монархисты) видела в российском самодержавии оплот порядка и стабильности, столь выгодно отличавшихся от «анархии» и «хаоса», царящих, по их мнению, в современной им Франции [Мильчина, 2004], но никогда русские не рассматривались как *нравственный* образец, на который должна ориентироваться «цивилизованная» Европа. Вогюэ впервые акцентировал человечность русских, считал их хранителями христианских заветов человеколюбия, милосердия, сочувствия к падшим.

Вместе с тем писатель видел и отрицательные следствия русского «мистицизма». Недостаток «рациональности» в русском психотипе приводит, по мнению писателя, к «разбалансировке» между разумом и чувством, волей и инстинктивным побуждением у русских, зачастую к склонности к крайностям и отсутствию самоконтроля. Эту особенность русских Вогюэ выводит, в частности, на основании следующей цитаты из «Детства. Отрочества. Юности» Л.Н. Толстого: «Вспоминая свое отрочество и особенно то состояние духа, в котором я находился в этот несчастный для меня день, я – весьма ясно понимаю возможность самого ужасного преступления без цели, без желания вредить, но *так* – из любопытства, из бессознательной потребности деятельности. Бывают минуты, когда будущее представляется человеку в столь мрачном свете, что он боится останавливать на нем свои умственные взоры, прекращает в себе совершенно деятельность ума и старается убедить себя, что будущего не будет и прошедшего не было. В такие минуты, когда мысль не обсуживает вперед каждого определения воли, а единственными пружинами жизни остаются плотские инстинкты, я понимаю, что ребенок, по неопытности, особенно склонный к такому состоянию, без малейшего колебания и страха, с улыбкой любопытства, раскладывает и раздувает огонь под собственным домом, в котором спят его братья, отец, мать, которых он нежно любит» [Толстой, 1987, с. 173–174].

Показательно, что эти размышления героя толстовского романа, имеющие отношение к отрочеству, характеризующие чувства ребенка в определенный момент его душевной жизни, Вогюэ неоправданно генерализирует, переносит на всех русских. Его комментарий к этому пассажу построен на оппозиции двух типов сознания – русского и французского, противопоставленных друг другу по признаку сбалансированности

душевной жизни, соотношения в них рационального и иррационального, инстинктивного побуждения и действия: «Чистое ребячество, скажут мне. Да, для нас (французов – *В.П.*), чьи умы лучше устроены и в которых эти зародыши кошмара почти никогда не пробиваются к жизни и не становятся действием, но не для русских умов, в которых эти приступы безумия часто завершаются соответствующим поступком» [Vogüé, 1886, p. 290–291].

Следствием этой «разбалансировки» становится свойственная русским меланхолия, и ее крайняя степень – «отчаяние», чувство, которое Вогюэ называет «национальной болезнью» русских [Там же, p. 291]. Показательна в этом отношении оппозиция Пушкина и Гоголя, конструируемая Вогюэ на страницах «Русского романа». Гармоничному Пушкину Вогюэ противопоставляет меланхолического Гоголя. Вогюэ не признавал Пушкина выразителем «русской души» не только потому, что отказывал ему в глубоком мистическом и религиозном чувстве. Пушкинское «совершенное равновесие» (*équilibre parfait*), его «веселость» (*gaieté*) не соответствовали представлению Вогюэ о русскости. С точки зрения французского писателя, первым национальным русским прозаиком является Н.В. Гоголь, «и в главном, и в частностях – исключительно русский» [Там же, p. 130]. В произведениях Гоголя «Россия наконец узнала свой дух и свой облик» [Там же, p. 71]. По мысли Вогюэ, у Гоголя нарушено равновесие между двумя началами его личности и творчества – веселостью, столь отчетливо проявившейся в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», и меланхолией, окрашивающей более поздние произведения писателя [Там же, p. 104]. Молодому Гоголю удается преодолеть меланхолию и отчаяние в результате поездки в Германию и посещения Любека. Только контакт с Западом придает герою душевные силы, и он возвращается на родину с верой в себя и готовностью преодолеть все невзгоды и препятствия на его пути к успеху. Самобытность Гоголя-писателя, по мнению Вогюэ, в значительной степени определялась тем, что он наблюдал и изображал повседневную жизнь своих, казалось бы, ничем не примечательных персонажей «с печалью, которая является столь существенным элементом русской души» [Там же, p. 94]. Вогюэ полагал, что меланхолия и отчаяние были ведомы не только Гоголю, но и Тургеневу, Достоевскому, Толстому [Там же, p. 291].

Отчаяние охватывает и многих героев русских романистов. Так, например, персонажей Достоевского Вогюэ характеризует следующим образом: «Большую часть этих натур можно подвести под общий тип, которому свойственна крайняя импульсивность, *отчаяние* (*l'otchaïanié*), состояние души и ума, для обозначения которого я тщетно пытался

найти подходящее слово в нашем языке [Vogüé, 1886, p. 227]. Впоследствии, в главе о Л.Н. Толстом, Вогюэ продолжит тему и предпримет попытку раскрыть смысл слова *отчаяние*: «Действительно, чтобы перевести это слово, следовало бы соединить двадцать других: безнадежность, фатализм, жестокость, аскетизм, и еще, Бог весть, какие» [Там же, p. 291].

Частными симптомами этой «болезни» русских становятся внезапные перемены настроений (*ces attaques de caprice*) у героев Достоевского [Там же, p. 227], сладострастное наслаждение в своем унижении, которое они зачастую испытывают [Там же, p. 227–228], парадоксальное сочетание «набожного смирения» со склонностью к преступлению, быстрота и спонтанность принимаемых в России решений. «Внезапность – характерная особенность всех начинаний в этой стране» [Там же, p. 33]. Иными словами, русские – народ импульсивный, противоречивый, склонный к крайностям.

Вогюэ был не первым во французской литературе, кто писал об этих особенностях русских. Ксавье де Местр в своей повести «Кавказские пленники» (1815) создал образ русского солдата Ивана, сочетавшего искреннюю веру в Бога с жестокостью. Ж. де Сталь в книге «Десять лет в изгнании» (1821) писала о русских: «Нации этой присущи свойства самые противоположные» [де Сталь, 2003, с. 209]. Писательница отмечала своего рода гигантоманию русских: «Народ этот – исполин во всем, обычные мерки в России не в ходу. Я не желаю тем самым сказать, что русским вовсе неведомо ни подлинное величие, ни постоянство, однако дерзость их воображения не знает пределов, колоссальное в их стране берет верх над соразмерным, отвага – над расчетливостью, и если они не достигают цели, то лишь потому, что оставляют ее далеко позади» [Там же, с. 207]. О страстности и необузданности русских в 1811 г. писал и Жозеф де Местр: «…Если желание русского человека запереть в крепость, он поднимет ее на воздух. <…> Нет человека, который *желал* бы так страстно, как желает русский» [де Местр, 2007, с. 38].

Однако оценка русской страстности и противоречивости у Ж. де Сталь и Ж. де Местра различна. Для Жермены де Сталь в них заключено некое очарование. Писательница видит в них свидетельство незаурядности русского народа и залог его великого будущего. Русский народ «терпелив и деятелен, весел и задумчив. Характер его соединяет в себе контрасты самые разительные, предвещающие великие свершения, ибо противоположными свойствами обладают, как правило, существа выдающиеся, толпа в большинстве своем однообразна» [де Сталь, 2003, с. 203]. Взгляд Ж. де Сталь на Россию и русских определяет

в значительной степени романтический культ страсти и вкус к контрастам [Ощепков, 2010].

Для Ж. де Местра необузданность русских, этого «самого неспокойного, самого неистового и смелого народа» [де Местр, 2007, с. 38], таит в себе опасность для российской государственности и даже в перспективе революционный потенциал, что пугало убежденного консерватора и ярого монархиста, каковым был автор «Четырех неизданных глав о России» (написано в 1811 г., опубликовано в 1859 г.).

Вогюэ был продолжателем традиции Ж. де Местра: неуравновешенность русских, их склонность к «отчаянию» пугает писателя, воспринимается им как «национальная болезнь» [Vogüé, 1886, p. 104]. Эта болезненность проявляется в психологическом облике Гоголя и Достоевского – в «нервической аффектации, осложненной ипохондрией» у первого [Там же], в эпилептических припадках, нервной возбудимости, частых лихорадках – у второго.

В биографическом нарративе о русских писателях Вогюэ снова акцентирует моменты душевного кризиса, болезни, преждевременной смерти. Ранняя смерть Пушкина, Лермонтова, Гоголя осмысливается Вогюэ как иллюстрация его тезиса о «национальной болезни» русских[1]. «В возрасте, когда другие начинают свое дело, он (Гоголь – *В.Т.*) свое завершил; быстрое изнашивание русского человека одержало победу и над ним. Таинственный рок висел над всеми писателями его поколения. Пуля и удар шпаги, нервное расстройство или чахотка, если не несчастный случай, или эта необъяснимая апатия, поражавшая их в возрасте, когда им еще не было сорока. Эта скороспелая и расточительная Россия обращается со своими детьми так же, как со своими растениями: она делает их прекрасными, великолепными, торопит их расцвести, но не дает им созреть и замораживает их в полном расцвете. О ней, о ее сыновьях и их идеях можно сказать то же, что написал один философ некоей бедной, но одаренной женщине: “Вы заранее обречены, потому что в Вас отсутствует равновесие между Вашим сознанием и Вашими поступками”» [Vogüé, 1886, p. 129].

Эта психологическая «неуравновешенность» русских, их склонность к меланхолии и крайностям имеет свою литературную проекцию, проявляется в том, что Вогюэ считал «погрешностями» стиля русских писателей. Все эти «погрешности», так или иначе, были, с точки зрения французского литератора, следствием нарушением чувства меры. Так,

[1] Вогюэ вряд ли решился бы написать то, что написал Жан Кокто в своей книге «Критическая поэзия» (1959): «…Франция убивает своих поэтов. Список ее жертв долог. Она отметает все необычное» [Кокто, 2000, с. 706].

Вогюэ не разделяет восторгов русских читателей «Вечерами на хуторе близ Диканьки» и признается, что его это произведение оставило равнодушным, поскольку в нем, по мнению французского литератора, грубовато фарсовое начало [Vogüé, 1886, p. 82]. Неудачу романа «Новь» И.С. Тургенева Вогюэ видит в нарушении равновесия, той гармонии между наблюдением и оценкой, которую он так высоко ценил в таланте Тургенева. Результатом стало окарикатуривание представителей высших классов русского общества [Там же, p. 187].

Высоко оценивая творчество Достоевского, масштабы личности и таланта писателя, Вогюэ отказывает ему в гениальности на том основании, что гений должен обладать двумя высшими качествами, которых нет у Достоевского, – чувством меры (*la mesure*) и универсальностью (*l'universalité*). Первое качество заключается в способности «подчинять свои мысли, выбирать между ними» [Там же, p. 267]. Второе – в умении видеть жизнь в различных ее проявлениях, изображать ее, не сгущая красок, не нарушая все того же, столь ценимого французом, равновесия. Достоевский изображал преимущественно мрачные стороны действительности: «Он как путешественник, который объездил весь мир и восхитительно описал все, что увидел, но путешествовал он только ночью» [Там же].

Упреки в отсутствии чувства меры заслужил и Л.Н. Толстой. Вогюэ отмечает длинноты в его «Детстве. Отрочестве. Юности»: «Любопытная книга, но местами затянутая, неинтересная; Диккенс выглядит лаконичным рядом с русским писателем» [Vogüé, 1886, p. 288]. Вогюэ считал вполне оправданным снятие во французском издании «Войны и мира» финальных историософских пассажей, поскольку «ни один читатель не смог противостоять тому ненужному утомлению, которое они вызывают» [Там же, p. 315].

В главе о Толстом это отсутствие баланса, неуравновешенность осмысливается уже не как стилистическая особенность русской литературы или психологическая черта персонажей русского романа, но как состояние духа всей современной России: «…Это новая Россия, погрузившаяся во тьму в поисках своего пути, равнодушная к требованиям нашего вкуса и зачастую непостижимая для нас. Не требуйте от нее самоограничения, к которому она менее всего способна, не ждите концентрации на чем-то, подчинения какой-то доктрине; она стремится лишь к тому, чтобы запечатлеть в литературе тот нравственный хаос, который она претерпевает» [Там же, p. 279–280].

Таким образом, Вогюэ в оценке разных явлений русской жизни и культуры последовательно и неуклонно руководствуется одним критерием – «стандартом» французского вкуса – чувством меры, выступая

в этом отношении наследником «золотого века» французской литературы и его ярчайших представителей П. Корнеля, Ж. Расина, Ж.-Б. Мольера, Н. Буало, Ларошфуко и др. Любопытно, что крайности мистицизма так же неприемлемы для Вогюэ, как и крайности рационализма: «Языков и Жуковский были стерилизованы мистицизмом, в который они погрузились», – полагает автор «Русского романа» [Vogüé, 1886, p. 57].

Вогюэ был не единственным французским литератором, почувствовавшим эту «неуравновешенность» русского духа, проявившуюся в литературе. Мода на русских, возникшая во Франции на рубеже XIX–XX вв., была в штыки воспринята частью французской литературной элиты. Об угрозе чистоте французской литературы и основам французского духа заговорили Ф. Брюнетьер, Ж. Леметр и др. [Ласкина, 2014, с. 292–293]. Братья Гонкур «обиделись» на Вогюэ по другой причине: они полагали, что он приписал их заслуги русским. Констатируя в своем «Дневнике» за 1888 г. несомненный успех русского романа во Франции, они далее с плохо скрываемой ревностью и досадой отмечали, что принадлежащая им (а также Флоберу и Золя) заслуга создания особого типа романа, повествующего о «реальной жизни людей, взятой с ее печальной, человеческой, не поэтической стороны» [Гонкур, 1964, с. 445], несправедливо приписывается Достоевскому и Толстому. «И вот человек, нашедший этот ловкий способ отвлечь внимание от нас, человек, который так непатриотически помог чужестранной литературе воспользоваться расположением и восхищением, да, восхищением, принадлежащим нам по праву, – г-н де Вогюэ» [Там же, с. 445–446].

Однако для Вогюэ те положительные уроки, которые могла извлечь французская литература и французское общество из опыта знакомства с русским романом, были важнее амбиций отдельных французских литераторов и определенно перевешивали опасения, связанные с возможным негативным влиянием. Для Вогюэ русский роман мог стать своего рода «прививкой» человечности и милосердия, которые, как считал автор «Русского романа», утрачивала рационалистическая, позитивистская, все дальше уходящая от христианских ценностей культура Запада.

Вместе с тем некоторые явления духовной жизни России второй половины – конца XIX в. вызывали тревогу французского писателя. Речь прежде всего о нигилизме, проявления которого, оставаясь верным своим принципам исследования «русской души», Вогюэ обнаруживает в личностях и произведениях русских писателей. Так, Вогюэ констатировал, что Тургенев первым диагностировал зарождающуюся болезнь, Достоевский запечатлел ее в образах «Бесов», Толстой имел личный опыт нигилистических переживаний и нигилистического отношения

к жизни. Глава о Толстом называется «Нигилизм и мистицизм. – Толстой». Здесь тема нигилизма становится центральной, хотя начата она была еще в предисловии к «Русскому роману».

В кратком экскурсе в русскую историю, открывающем книгу, Вогюэ впервые упоминает о нигилизме, трактуя его как «наследственную болезнь, имеющую давние корни, – это склонность славянского духа к той негативистской доктрине, которую сегодня мы называем нигилизмом, и которую отцы индуизма именовали *нирваной*. Если мы хотим как следует понять Россию, нужно вспомнить все, чему она научилась у Древней Индии» [Vogüé, 1886, p. 3]. Вогюэ полагал, что индуистская религиозно-философская традиция, наряду с христианством, оказала существенное влияние на нравственные и религиозные представления русского народа. Славянский дух, по мысли Вогюэ, унаследовал не только откровение любви к ближнему, но прежде всего «радости уничтожения» (*les joies de l'anéantissement*) [Там же, p. 4].

Следуя концепции «расы», «среды» и «момента» И. Тэна, Вогюэ утверждает далее, что нигилистический импульс, зародившейся в славянской душе под воздействием индусского элемента, получил свое развитие, попав в специфическую «среду», в силу особого драматизма русской истории. «Я не знаю народа, который пережил бы бóльшие исторические потрясения, чем русские» [Там же, p. 6]. Вогюэ констатирует, что западноевропейские народы развивались в гораздо более благоприятных условиях: после нашествия варваров и отражения ислама у них было почти двенадцать веков относительной стабильности и мира. «В России напротив, история, казалось, зарезервировала пространство для радикальных экспериментов» [Там же]. Одним из таких «радикальных экспериментов» оказался и «русский нигилизм» второй половины – конца XIX в.

Важнейшим фактором активизации нигилистического импульса, издревле существовавшего в «русской душе», Вогюэ считает идеи, проникшие в Россию в 1840-х гг. из Западной Европы. «Русские получили от Европы демократические и социалистические идеи; они набросились на них с горячностью, поскольку те отвечали всем инстинктам их расы, всем склонностям их души» [Vogüé, 1886, p. 138]. Это влияние Вогюэ оценивает неоднозначно. С одной стороны, западные идеи разбудили Россию, до того, на протяжении значительной части правления Николая I, бывшую «инертной и бессловесной», на «жесткой униформе которой не было ни одной складки» [Там же, p. 135]. Вогюэ констатирует оживление интеллектуальной жизни в России 1840-х гг., обострение интереса к социальным вопросам под воздействием западного влияния. Он с явной симпатией пишет о русских западниках: Белинском, Герцене,

Тургеневе, Бакунине[1]. В то же время Вогюэ называет их «московскими якобинцами» и возлагает на них ответственность за извращение «русской души». Вот как он описывает этот процесс: русские «не заметили, что эта чужеродная примесь извращает лучшие их качества. Введенные в заблуждение трудами западных социалистов, революционеры 1848 г., хмелея от этих опусов, превратились в нравственных эмигрантов, покинувших свою родину ради бесплодной пустыни абстрактных идей и отрицания. Чужая теория заставила их потерять из виду русскую действительность. Их декларации в защиту народа звучали фальшиво, поскольку эти московские якобинцы совершенно проникнись духом восемнадцатого века, рационалистического и безбожного; у них нет ничего общего с истинным, совершенно евангельским состраданием Достоевского и Толстого, к которому слышалось презрение в избитых фразах либеральной оппозиции. Первые – любящие реалисты. Вторые были злобными идеологами, у которых любовь к человечеству обернулась ненавистью к обществу. Именно таков, я полагаю, критерий, в соответствии с которым можно разделить русских писателей на два лагеря» [Vogüé, 1886, p. 138–139]. К «любящим реалистам» Вогюэ относит Гоголя, Тургенева, Некрасова, Толстого, Достоевского.

Симпатизируя русским либералам и западникам как культуртрегерам западного влияния, Вогюэ одновременно осуждает их как последователей и проводников «безбожных», просветительских идей. Вогюэ на протяжении всей книги развивает тему западного влияния на Россию, причем в его оценках сквозит традиционное для западного дискурса о России сознание культурного превосходства. «Россия точно следовала за движением западного духа, но с отставанием в несколько столетий; ее развитие в семнадцатом веке имеет много общего с нашим в пятнадцатом столетии, но в Москве не было ни Фруассара, ни Коммина» [Там же, p. 16]. «В течение всего восемнадцатого века мы (французы – *В.Т.*) приучали русский ум подражать классикам…» [Там же, p. 32]. Если французы были учителями русских в приобщении к образцам классицизма, то немцы стали их наставниками в романтическом

[1] Для Вогюэ настоящий русский не Герцен, которому «слишком тонкая природа его таланта не позволила … оказать сколько-нибудь существенное влияние на русский народ. <…> Настоящий русский – Бакунин, влюбленный в Революцию как таковую…»» [Vogüé, 1886, p. 140]. Так в этой сравнительной характеристике Герцена и Бакунина еще раз со всей определенностью сказалось представление Вогюэ о нигилистических склонностях «русской души». Однако настоящий русский для французского писателя, как уже отмечалось выше, и Тургенев, «воплощавший главные качества русского народа: наивную доброту, простоту, смирение» [Там же, p. 148].

искусстве [Vogüé, 1886, p. 32]. Вогюэ особенно часто подчеркивает влияние французских писателей на русских: Вольтера – на Пушкина, Жорж Санд и Эжена Сю – на Григоровича, Некрасова и Достоевского, Бальзака – на Тургенева и Достоевского. Многочисленны у Вогюэ литературные параллели, где «первоисточником» является французская литература: Тарас Бульба – «украинский Роланд» [Там же, p. 91], Чичиков напоминает Вогюэ Робер-Макэра, циничного проходимца-спекулянта, персонажа популярного сборника физиологических очерков «Сто и один Робер-Макэр» (1839) [Там же, p. 111]. «Кретинизм» гоголевского Акакия Акакиевича сравнивается с «кретинизмом» флоберовских Бувара и Пекюше [Там же, p. 97], а «Дневник писателя» Достоевского вызывает ассоциацию с книгой аббата де Ламенне «Слова верующего» [Там же, p. 265]. Концентрированное выражение мысль Вогюэ о «подражательности» русских и вторичности их культуры находит в метафоре России-зеркала. «Россия воспринималась нами как огромное зеркало, способное лишь отражать образы, которые мы ей внушали» [Там же, p. 67].

Правда, Вогюэ, как многие западные авторы до него, сетует на поверхностный характер усвоения русскими западной культуры: «Русские позаимствовали наши парики, но почти ничего не переняли от нашей манеры мыслить» [Там же, p. 25]. Вогюэ сожалеет, что русские поверхностно восприняли классическую культуру Запада, культуру меры, гармонии, которая могла бы помочь им преодолеть «разбалансированность» «русской души», но живо откликнулись на губительные просветительские, либерально-демократические идеи, лишь усилившие их склонность к крайностям.

На первый взгляд, Вогюэ демонстрирует исторический подход к исследованию «русской души». Она не является для французского писателя неизменной сущностью. Выделив ее константы («мистицизм», милосердие, тонкое ощущение всеобщей взаимосвязи явлений, склонность к крайностям, болезненной аффектации, отрицанию), он рассматривает ее в развитии. Было бы точнее сказать, что Вогюэ исследует не столько трансформации «русской души», сколько эволюцию русского культурного сознания под воздействием различных как исторических событий, так и культурных факторов, идей. Однако историзм Вогюэ на поверку оказывается ограниченным и поверхностным. Если он и рассматривает эволюцию «русской души», то только под воздействием внешних факторов (восточных или западноевропейских). Внутренние факторы собственно русской действительности (изменения социальной структуры, форм правления, особенности климата и т.д.), внутренняя

логика ее развития не принимаются в расчет[1]. Так, например, Вогюэ никак не объясняет «разворот» образованных русских в начале XIX в. от французской культурной традиции к романтической немецкой литературе. В другом случае он ограничивается констатацией смены культурных ориентиров русской интеллигенции: если в 1820-х гг. ее интересовали преимущественно эстетические вопросы, «споры не касались более общих вопросов и более серьезных проблем» [Vogüé, 1886, p. 60], то в 1840-х гг. ситуация изменилась, возник живой интерес к нравственным и социальным проблемам. И опять никаких объяснений. Переход от этапа культурной несамостоятельности («подражательности») к этапу самосознания и обретения своей культурной идентичности в 1840-е гг. Вогюэ связывает с фигурой Н.В. Гоголя, что отражало представления писателя о «русскости». Вопрос о том, какими причинами и обстоятельствами был обусловлен этот переход, также остается в книге Вогюэ без ответа.

В результате эволюция русского культурного сознания мифологизируется, укладывается в рамки романтического мифа о свободном творческом самоопределении гения. Эта схема из эстетики экстраполируется на проблемы культурогенеза. Вогюэ накладывает эту романтическую мифологему свободного творца, порывающего с канонами и обретающего творческую свободу, на описание процесса становления русской культурной самобытности. Размышляя о влиянии западных идей на русское сознание, Вогюэ использует библейскую мифологему искушения, соблазнения. Запад соблазнил и развратил «русскую душу» просветительскими и либерально-демократическими идеями.

Метод Вогюэ причудливо сочетает элементы историзма культурно-исторической школы с мифологизацией, которой свойственно осмысливать эмпирические факты, ориентируясь на некие вневременные модели[2].

[1] Здесь необходимо заметить, что под воздействием широко известной к концу XIX в. концепции Ш.-Л. Монтескьё о влиянии климата на форму правления, нравы, обычаи народов, а также идей культурно-исторической школы Вогюэ констатирует роль этих внутренних факторов в *формировании* «русской души» (см., например, [Vogüé, 1886, p. 11–12]), но игнорирует их при описании ее дальнейшей *эволюции*.

[2] Е.М. Мелетинский так описывал прецедентный характер мифологического мышления: «Мифологическое мышление принципиально неисторично, игнорирует историческую гетерогенность, все многократные изменения профанного эмпирического времени сводит к однократным актам творения, совершенным в трансцендентное сакральное мифическое время. Наоборот, чисто мифические прасобытия затем многократно воспроизводятся в обрядах и мыслятся образчиками, в свете которых толкуются, к которым “подгоняются” действительные эмпирические события, происходящие или могущие произойти в будущем» [Мелетинский, 2006, с. 177].

Вряд ли можно утверждать, что Вогюэ исполнил задачу, которую ставил перед собой, – постиг «тайну русской души». Скорее, он внес свой вклад в мифологизацию России и русских на новом этапе историко-культурного развития. Как любой миф, миф Вогюэ абсолютизировал некоторые особенности русской литературы и отдельные свойства русского характера. Вместе с тем «русская душа» была впервые описана не как набор разнородных, иногда противоречивых признаков, но как некая сложная связность, доминантой которой являлся, по мнению Вогюэ, русский «мистицизм». Своеобразие Вогюэ как исследователя «русской души» заключалось и в том, что, отмечая ее болезни, странности и недостатки, писатель все-таки акцентировал то, чему Запад может поучиться у русских, – широту взгляда и гуманность, искреннее сочувствие, христианское смирение. Прежде, в 1830–40-х гг., в монархических кругах Франции Россия воспринималась как *политическая модель*, обеспечивавшая стабильность и порядок в стране. У Вогюэ впервые в западном дискурсе о России ее литература рассматривалась в определенном отношении как *нравственный и эстетический образец*, на который было бы полезно ориентироваться Западу, а русский народ как носитель подлинных христианских ценностей милосердия и любви к ближнему.

Библиографический список / References

Гонкур, 1964 – Гонкур Э. и Ж. Дневник. Записки о литературной жизни: В 2 т. М., 1964. Т. II. [Goncourt E. and J. Dnevnik. Zapiski o literaturnoi zhizni [Diary. Notes on literary life]. In 2 vol. Moscow, 1964. Vol. II.]

Кокто Ж. Петух и Арлекин. СПб., 2000. [Cocteau J. Petukh i Arlekin [Rooster and Harlequin]. St. Petersburg, 2000.]

Ласкина, 2014 – Ласкина Н.О. «Русское нашествие» в рефлексии французской литературной критики рубежа XIX и XX вв.: к истории вопроса // «Страна филологов»: проблемы текстологии и истории литературы: Сб. ст. / Отв. ред. Роженцева Е.А. М., 2014. С. 291–296. [Laskina N.O. "Russian invasion" in reflection of the French literary critics of the XIX and XX centuries: the history of the issue. «*Strana filologov*»: *problemy tekstologii i istorii literatury*. Rozhentseva E.A. (ed.). Moscow, 2014. Pp. 291–296.]

де Местр, 2007 – Местр Ж. де. Сочинения. Четыре неизданные главы о России. Письма русскому дворянину об испанской инквизиции. СПб, 2007. [Maistre J. de. Sochineniya. Chetyre neizdannye glavy o Rossii. Pis'ma russkomu dvoryaninu ob ispanskoi inkvizitsii [Works. Four unpublished chapters on Russia. Letters to a Russian gentleman on the Spanish Inquisition]. St. Petersbourg, 2007.]

Мильчина, 2014 – Мильчина В.А. «Русский мираж» французских легитимистов в 1830–1840-е годы // Мильчина В.А. Россия и Франция. Дипломаты. Литераторы. Шпионы. СПб., 2004. С. 344–389. [Mil'china V.A. "Russian mirage" of the French legitimists in the 1830s–1840s. *Mil'china V.A. Rossiya i Frantsiya. Diplomaty. Literatory. Shpiony*. St. Petersbourg, 2004. Pp. 344–389.]

Ощепков А.Р. Образ России во французских путевых записках XIX века. М., 2010. [Ощепков А.Р. Образ России во французских путевых записках XIX века [The image of Russia in the French travel notes of the XIX century]. Moscow, 2010.]

де Сталь, 2003 – Сталь Ж. де. Десять лет в изгнании. М., 2003. [Stal G. de. Desyat' let v izgnanii [Ten years in exile]. Moscow, 2003.]

Строев А.Ф. Россия глазами французов XVIII – начала XIX века // Логос. 1999. № 8. С. 8–41. [Stroev A.F. Russia through the eyes of the French 18th – early 19th centuries. *Logos.* № 8. Pp. 8–41.]

Толстой, 1987 – Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность. М., 1987. [Tolstoy L.N. Detstvo. Otrochestvo. Yunost' [Childhood. Adolescence. Youth]. Moscow, 1987.]

Calvet, 1927 – Calvet J. Le Renouveau catholique dans la littérature contemporaine. Paris, 1927.

Corbet, 1967 – Corbet Ch. L'opinion française face à l'inconnue russe (1799–1894). Paris, 1967.

Lortholary, 1951 – Lortholary A. Le Mirage russe en France au XVIII siècle. Paris, 1951.

Mansuy, 1912 – Mansuy A. Le Monde slave et les classiques français aux XVI–XVII siècles. Paris, 1912.

de Vogüé, 1886 – Vogüé E.M. de. Le roman russe. Paris, 1886.

Статья поступила в редакцию 9.06.2017

The article was received on 9.06.2017

Трыков Валерий Павлович – доктор филологических наук; профессор кафедры всемирной литературы Института филологии, Московский педагогический государственный университет

Trykov Valery P. – Dr. Phil. Hab.; Professor of Department of World Literature of Institute of Philology, Moscow State University of Education

E-mail: v.trykoff@yandex.ru

Е.В. Буденная

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
119234 г. Москва, Российская Федерация;

Институт языкознания РАН,
125009 г. Москва, Российская Федерация

Экспансия местоимений в истории русского языка: именные клаузы[1]

В истории русского языка произошла типологически редкая перестройка субъектной референциальной стратегии. Так, если в древнерусском языке субъектная референция маркировалась преимущественно глагольными аффиксами, то в современном русском языке она осуществляется с помощью личных местоимений. Глагольные связки, выполнявшие референциальную функцию ранее, полностью утратились. Причины и детали подобного перехода представляют большой интерес. На данный момент известно, что ранее всего экспансия местоимений и падение связок произошли в именных клаузах, однако до сих пор точно не установлено, как именно взаимодействовали параллельные процессы экспансии местоимений и падения связок и какой именно из них является «отправной точкой» для всей дальнейшей эволюции. В данной статье на основе нового диахронического анализа памятников XI–XVII вв. (313 релевантных клауз) мы постараемся дать ответы на эти вопросы.

Ключевые слова: субъектная референция, личное местоимение, именные клаузы, диахронический анализ, древнерусский язык, русский язык.

[1] Данное исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 17-06-00460.

E. Budennaya

Lomonosov Moscow State University,
Moscow, 119234, Russian Federation

Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences,
Moscow, 125009, Russian Federation

Pronoun expansion in the history of Russian: nominal clauses[1]

The Russian language has undergone typologically rare changes in its subject reference marking pattern. Namely, if Old Russian employed verbal inflection for marking subject, modern Russian does it mostly by personal pronouns. During the history verb copulas which performed the referential function in Old Russian were completely lost. The reasons and details of such a transition are of great interest. At the moment, it is established that at the earliest stage pronoun expansion and copular loss have both occurred in nominal clauses, but until now it has not been investigated how exactly these two parallel processes interacted with each other and which of them triggered the initial shift. In this article, based on a new diachronic analysis of the monuments of the 11th–17th centuries (313 relevant clauses), we will try to answer these questions.

Key words: subject reference, personal pronoun, diachronic analysis, Old Russian language, Russian language, nominal clauses.

Введение

В древнерусском языке – общем предке современных восточнославянских языков (русского, украинского и белорусского) – ведущим типом маркирования субъектной референции были глагольные аффиксы, тогда как субъектные местоимения употреблялись лишь в ограниченных случаях (эмфаза, контрастивное противопоставление и др.[2]). Помимо древнерусского, данный тип референциального маркирования был также свойственен практически всем письменно засвидетельствованным древним индоевропейским языкам и в этой связи реконструируется и для общего предка [Hopper, 1975, p. 80; Adams, Mallory, 2006, p. 60; Walkden, 2014, p. 230]:

[1] The work on this paper was supported by Russian Foundation for Basic Research (RFBR project 17-06-00460).

[2] Подробно об «обязательных местоимениях см. раздел 1.2.

(1) Др.-рус. (БГ-644[1], 1-я пол. XII в.)
Чемоу[2] не восолеши чето ти есемо водала ковати
‘Почему (ты) не присылаешь то, что (я) дала тебе выковать’.

[1] Анализируемые памятники: АктЮр – Акты юридическіе, или собраніе форм старинnаго дѣлопроизводства. СПб., 1858; АфНик – Никитин А. Хожение за три моря // Библиотека литературы Древней Руси / Под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. Т. 7: Вторая половина XV в. СПб., 1999; БГ – Берестяные грамоты XI–XV вв. URL: http://gramoty.ru; Грозный – Послания Ивана Грозного // Библиотека литературы Древней Руси / Под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. СПб., 2001. Т. 11: XVI в.; ГВНП – Грамоты Великого Новгорода и Пскова / Под ред. С.Н. Валка. М.-Л., 1949; ВелНовг – Великий Новгород во второй половине XVI века: Сб. документов / Под ред К.В. Баранова. М., 2001; Гал – Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства XIII – першої половини XIV ст. Львів, 2004; ЕршЕрш – Повесть о Ерше Ершовиче / Подготовка текста и примеч. А.М. Панченко // Изборник (Сборник произведений литературы Древней Руси). М., 1969. С. 581–588; Киев-Д – Киевская летопись по Ипатьевскому списку // Полное собрание русских летописей. Т. II. Изд. 2-е. СПб., 1908. (диалогическая часть); Молд – Молдавско-украинские документы XIV в. // Исторические связи народов СССР и Румынии в XV – начале XVIII в. / Под ред. Я.С. Гросул, А.А. Новосельского, Л.В. Черепнина. Т. 1, 1408–1632 гг.; НовгСел – Документы по истории Великого Новгорода XVI в. из архивов России и Швеции, собранные Адрианом Селиным. URL: http://adrianselin.narod.ru; ПВЛ – Повесть временных лет. Цит. по Лаврентьевской летописи // Полное собрание русских летописей. Т. 1. Л., 1926–28; ПГ – Полоцкие грамоты XIII – начала XVI вв. / Сост. А.Л. Хорошкевич. Т. I, II. М., 1977–1978; ПскПеч-Дел – Деловые письма из Повести о Псково-Печерском монастыре / Подготовка текста, пер. и коммент. В.И. Охотниковой // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 13: XVI в. СПб., 2005; ПосКр – Посольская книга по связям России с Крымом. Памятники дипломатических сношений Московского государства с Крымскою и Нагайскою ордами и с Турцией. Т. 1 (С 1474 по 1505 год, эпоха свержения монгольского ига в России) // Сборник императорского русского исторического общества. Т. 41. СПб., 1884; Риж – Хорошкевич А.Л. Рижские грамоты 60–70-х годов XV в. из бывшего Рижского городского архива // Археографический ежегодник за 1965 г. М., 1966; РусПр – Пространная Русская Правда (по Троицкому списку 2-й половины XIV в.). // Российское законодательство X–XX вв. Т. 1. М., 1984. С. 64–73; Судный список великокняжеского бортника Сати // Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси. Т. 3. № 364; Угл – Шумаков С.А. Угличские акты (1400–1749 гг.). М., 1899; Укр – Розов В.А. Українські грамоти. Т. 1: XIV в. і перша половина XV в. Киев, 1928; Феодосий – Послание игумена Хутынского монастыря Феодосия старцу Алексею о дьяке Якове Шишкине // Очерки феодальной России. Вып. 5. М., 2001; ЦарГр – Повести о взятии Царьграда крестоносцами // Библиотека литературы Древней Руси / Под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. СПб., 1997. Т. 5: XIII в. (диалогическая часть); AnRB – „in Rusch Boeck...“ : ein Russisch-Deutsches anonymes Wörter- und Gesprächsbuch aus dem XVI. Jahrhundert // Falowski A. Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte, Reihe B, Editionen, Neue Folge. Bd. 3 (18). Köln, 1994; Fenne – Tonnies Fenne’s Low German Manual of Spoken Russian Pskov 1607. L.L. Hammerich, R. Jakobson (eds). Copenhagen, 1970.

[2] Древнерусские примеры в данной статье даются в современной орфографии.

(2) Лат. (средневековая пословица, возможно, восходит к Цицерону)

Dum	*spir-o*	*sper-o*
пока	дышать.PRS-1SG[1]	надеяться.PRS-1SG

‘Пока дышу, надеюсь’.

(3) Др.-верх.-нем. (Отфрид фон Вейсенбург, “Liber evangeliorum”, IX в.; пример из [Eggenberger, 1961, с. 35])

Ni	*thárf-t*	*es ...*	*lóugn-en*
NEG	быть.должным.PRS-2SG	оно.GEN	отрицать-INF

‘Ты не должен отрицать это’.

Данный тип референциального маркирования, по данным [Dryer, 2011], представлен и в подавляющем большинстве индоевропейских языков-потомков: романских (за исключением галло-романских), большинстве западно- и южнославянских, греческом, литовском, – и в целом является самым частотным (61% языков мира). Тем необычнее выглядит то, что с течением времени ряд языков Европы перешел от этой частотной и устойчивой стратегии к гораздо более редкой местоименной модели (согласно выборке [Dryer, 2011], она представлена в 12% современных языков мира). Среди таких языков выделяются восточнославянские, в которых представлен достаточно сложный тип референциального маркирования: несмотря на доминирование модели с субъектным местоимением, примерно в 1/3 случаев (данные [Kibrik, 1996]) оно опускается и референт маркируется только глагольными аффиксами:

(4) Рус. (Национальный корпус русского языка[2], ср. (1)):

а. ***Я*** *считаю*[3], *что портал* ***мы*** *создали вместе.*

б. *Прошу прощения*, *если Вас чем-то обидела.*

Данная стратегия с «двойным» маркированием референции (местоимения + личные окончания глагола), несмотря на кажущуюся носителям «привычность», является очень редкой среди языков мира. По данным

[1] Условные обозначения: 1, 2, 3 – 1-е, 2-е, 3-е лицо; ACC – аккузатив; AUX – вспомогательный глагол; COMP – сравнительная степень; DAT – датив; DEF – определенность; F – женский род; FUT – будущее время; GEN – генитив; INF – инфинитив; LOC – локатив; M – мужской род; N – средний род; NEG – отрицание; NOM – номинатив; OBL – обликвус; PL – множественное число; POSS – посессивность; PTCP – страдательное причастие; PRS – настоящее время; PST – прошедшее время; REFL – возвратный показатель; SG – единственное число.

[2] http://ruscorpora.ru/search-main.html.

[3] Здесь и далее выделение и деление на клаузы мое. – *Е.Б.*

[Siewierska 2004], в выборке из 402 языков она встречается только в Европе (германские, северные романские и восточнославянские языки), а также в нескольких языках коренных народов Северной Америки, Африки и Океании. Русский же тип, позволяющий при этом также периодический пропуск местоимения, является еще более редким. Причины развития столь редкого маркирования субъектной референции из достаточно стабильной стратегии с глагольными окончаниями представляют большой интерес и являются давним предметом дискуссий (см. обзор [Meyer, 2011, с. 21]).

С целью выяснения деталей самого древнего этапа эволюции, в данной работе будет предпринята попытка проследить истоки возникновения новой местоименной стратегии на примере древнерусских именных клауз, в которых, как предполагается, данный процесс произошел ранее всего [Зализняк, 2008, с. 255]. Основным методом является диахронический анализ корпуса текстов, максимально близких по стилю (см. раздел 2), с применением статистического аппарата.

Данная статья состоит из 3 разделов. В разделе 1 будут представлены исходные данные и имеющиеся гипотезы о причинах русской референциальной эволюции. В разделе 2 будет рассказано об основных принципах отбора текстов для анализа. В разделе 3 будут представлены результаты нашего исследования, которые прояснят многие спорные вопросы о взаимосвязи утраты связок и экспансии местоимений.

1. Исходные данные и основные гипотезы

Среди всех клауз русского языка, затронутых экспансией местоимений, выделяются три основных типа: именные[1] (*стар есмь* / *я стар*), глагольные презентные (*ø даю* / *я даю*) и глагольные перфектные, ставшие впоследствии клаузами нового прошедшего времени на *-л* (*дал есмь* / *я дал* / *ø дал*). В именных презентных и глагольных перфектных клаузах личные местоимения заняли место утратившейся глагольной связки, ранее выполнявшей референциальную функцию, тогда как в презентных клаузах местоимения стали новым членом, дублирующим референциальную функцию глагольных аффиксов. Все эти типы клауз можно видеть в параллельных текстах (5), идентичных по содержанию, но написанных с разницей в 800 лет:

[1] Здесь и далее под именными клаузами подразумеваются именные презентные клаузы. Именные претеритные клаузы в этой работе не рассматривались ввиду крайне малого их количества (5 примеров на приблизительно 5000 клауз корпуса).

(5)

БГ-644, нач. XII в.	**Современный перевод [Зализняк, 2004, с. 267]**
От нѣжеке ко завиду *чемоу не* ***восолеши*** *чето ти* ***есемо водала*** *ковати* ***я дала*** *тобѣ а нѣжатѣ не дала* *али чимо* ***есемо виновата*** *а восоли отроко* *а* ***водале*** *ми* ***еси*** *хамече* *а чи за то не* ***даси*** *а восоли ми вѣсть* *а не* ***сестра*** *я вамо* *оже тако* ***дѣлаете*** ***не исправить*** *ми ничето же*	*От Нежки к Завиду.* *Почему* ***ты не присылаешь*** *то, что я* ***дала*** *тебе выковать?* ***Я дала*** *тебе, а не Нежате.* *Если я что-нибудь* ***должна***, *то посылай отрока.* ***Ты дал*** *мне полотнишко*; *если поэтому не* ***отдаешь***, *то извести меня.* *А я вам не* ***сестра***, *раз* ***вы*** *так* ***поступаете***, ***не исполняете*** *для меня ничего!*

На данный момент исследователи русской референциальной перестройки сходятся, по крайней мере, в двух положениях, связанных с временными рамками этого процесса. В частности, ученые солидарны в том, что завершение эволюции приходится на XVII в., к концу которого ситуация «уже практически не отличается от современной» [Зализняк, 2008, с. 256]; см. также [Черных, 1952, с. 227; Борковский, Кузнецов, 2006, с. 323]. Кроме того, не вызывает возражений и то, что самым ранним засвидетельствованным (XI–XII вв.) процессом, связанный с перестройкой русской референциальной модели, было падение глагольных связок в 3-м лице перфекта [Черных, 1952, с. 226; Борковский, Кузнецов, 2006, с. 323; Зализняк, 2004, с. 172], а также именных клаузах 3-го лица [Борковский, Кузнецов, 2006, с. 332]. Уже самые ранние памятники некнижного стиля[1] последовательно отражают этот факт:

(6) БГ-247, 1-я пол. XI в.:
а ***замъке ø***[2] ***кѣле*** *а* ***двьри ø кѣлѣ***
‘А замок целый, а двери целые’.

(7) БГ-605, нач. XII в.:
мене ***игоумене не ø поустиле*** (не ***несть поустиле.*** *– Е.Б.*).

(8) ГВНП-28, кон. XII в. (Договор Новгорода с Ригой и Готским берегом, 1195):
пакы ли соромит собе ***свободна ø***
‘Если он изнасилует [рабыню] – она свободна (т.е. освобождается)’.

[1] Более подробно о стилях древнерусского языка см. раздел 2.1.

[2] Здесь и далее символом **ø** обозначено отсутствие личного местоимения или глагольной связки, окончания которой осуществляли референциальную функцию.

С учетом этих фактов ряд исследователей [Jakobson, 1971, p. 21; Борковский, 1968, p. 50; Lindseth, 1998, p. 65; Kibrik, 2004] высказывает общую гипотезу об утрате глагольных связок как о первопричине экспансии местоимений. Наиболее полно эта гипотеза представлена в работах А.А. Кибрика, где отмечается, что сама по себе экспансия местоимений представляет собой явление явно «немотивированное», тогда как «унификация глагольной парадигмы является достаточно распространенным процессом» [Kibrik, 2013, p. 237][1]. Тем не менее, ряд положений в этой гипотезе – как общего характера, так и применительно к данным русского языка – требует более детальных исследований.

Так, само по себе падение глагольной связки в 3-м лице перфекта действительно типологически распространено и засвидетельствовано в большинстве западно- и южнославянских языков[2] [Lindseth, 1998, p. 66]. Однако переход от утраты нулевых связок 3-го лица к утрате нулевых связок 1-го и 2-го лиц уже не является столь частотным. В частности, в западно- и южнославянских языках отсутствие формального выражения 3-го лица не повлекло за собой никакой референциальной неоднозначности и дальнейших перестроек, а, наоборот, стало восприниматься носителями как особый нулевой показатель 3-го лица: «A zero copula signals 3rd person» [Там же, p. 67]. Не исключено, что данная модель является частным случаем более общей стратегии с нулевым маркером 3-го лица и отличными ненулевыми показателями 1-го и 2-го лиц, в том или ином виде встречающейся практически по всему земному шару [Bhat, 2007, p. 37, 74].

Если же считать падение связок 3-го лица «толчком» не к выравниванию глагольной парадигмы, а к непосредственному появлению местоимений на месте утраченной связки, то в этом случае следовало бы ожидать, что первые субъектные местоимения «новой» волны будут именно местоимениями 3-го лица [Meyer, 2011, p. 98]. Однако это противоречит фактам: субъектные местоимения 3-го лица в древнерусских памятниках в основном непосредственно наблюдаются лишь начиная с XIII–XIV вв. [Борковский, Кузнецов, 2006, с. 322], гораздо позже местоимений 1-го и 2-го лиц (ср. *а не сестра я вамо* в (6)). Кроме того,

[1] См., в частности, данные афроазиатских, нило-сахарских и ряда языков Центральной и Южной Америки и Океании [Kopotev, 2011, с. 16], а также схожие тенденции в афроамериканском английском (*He s working → He workin'*).

[2] За исключением словенского и лужицких; также в сербско-хорватском языке глагольная связка 3-го лица периодически употребляется в зависимости от дополнительных дискурсивных особенностей, а в болгарском и македонском – в связи с эвиденциальностью [Грицкат, 1954].

определенной сложностью является и тот факт, что уже в ранних памятниках наряду со связочными безместоименными встречаются трехчленные модели, содержащие в себе и местоимение, и глагольную связку [Зализняк, 2008, с. 247; Meyer, 2011, с. 95, 100]. Сами по себе такие конструкции свидетельствуют скорее против гипотезы о более раннем падении связок по отношению к экспансии местоимений:

(9) ***азъ есмь*** *велми* ***боленъ*** (Киев-Д, XII в.).

(10) ***мы есмы приставленъ****i в Роускои землѣ* (Киев-Д, XII в.).

(11) ***Урядил есмь аз*** *святеи Софии* (Св1137, XII в.).

Принимая во внимание эти данные, ряд исследователей высказывает обратную гипотезу о первичности экспансии местоимений по отношению к падению связок [Борковский, Кузнецов, 2006, с. 324, 332; Иванов, 1982, с. 101; Зализняк, 2004, с. 170]. Однако аргументы в пользу этой гипотезы не менее зыбки: помимо уже упомянутой общей «немотивированности», даже сами текстовые данные (9)–(11) на данный момент интерпретируются исследователями по-разному. С одной стороны, наличие промежуточного трехчленного этапа типа *я есмь князь* на пути от двучленной связочной модели *князь есмь* к местоименной *я князь* действительно может быть фактором в пользу приоритета экспансии местоимений над утратой связок. С другой стороны, подобные трехчленные модели в памятниках, близких разговорному языку, достаточно редки [Зализняк, 2004, с. 178], что также не позволяет строить каких-либо однозначных выводов.

Основной же фактологической сложностью в имеющихся диахронических исследованиях данной проблемы является крайняя стилистическая разнородность исследуемых текстов[1]. Данный факт неразрывно связан с особенностями древнерусской литературы в целом: все ее памятники фактически с самого начала письменности и до XVII в. [Живов, 2017, с. 213, 231] относились к двум принципиально разным стилистическим регистрам – книжному (жития, исторические повести, летописи) и некнижному (грамоты, акты, письма), причем основной массив данных составляют книжные тексты. Для книжных памятников была характерна сюжетная ориентация на вечные христианские истины и «образцовые» греческие и старославянские тексты. Этот принцип отражался в жесткой языковой структуре [Успенский, 1994,

[1] В частности, в корпусном исследовании [Meyer, 2011] среди данных XII в. наравне представлены как сугубо религиозные книжные тексты «Иудейской войны» Флавия, так и новгородские берестяные грамоты, признанные самым близким отражением живого древнерусского языка [Зализняк, 2004, с. 20].

с. 21; Живов, 1996, с. 34], в ряде случаев калькировавшей греческий и южнославянский морфосинтаксис [Живов, 2001, с. 14]. С учетом того, что и в греческом, и в старославянском языке субъектные местоимения в немаркированной позиции отсутствовали, изучение непосредственной экспансии субъектных местоимений на основе древнерусских книжных текстов автоматически делает полученные результаты уязвимыми.

С этих позиций некнижные тексты стоят намного ближе к аутентичному древнерусскому языку и представляются намного более перспективными для исследования референциальной эволюции. Однако здесь ситуация осложняется тем, что непосредственный объем таких текстов в десятки раз меньше пространных книжных повестей, а именные клаузы зачастую представлены считаными примерами, не позволяющими однозначно судить о процессе эволюции. Тем не менее, несомненно, что при возможном расширении выборки некнижных текстов их данные оказались бы намного более значимыми для прослеживания референциальной перестройки в древнерусском языке, чем показания книжных памятников, специфически ориентированных на «образцовые» тексты. Именно поэтому в данной работе для итогового анализа была предпринята попытка максимально расширить корпус имеющихся некнижных текстов для наибольшей репрезентативности выборки. Об основных принципах отбора текстов при таком подходе пойдет речь в следующем разделе.

2. Корпус текстов и принципы отбора клауз

2.1. Общие замечания

Основным принципом для поэтапного диахронического отслеживания русской референциальной эволюции в данной работе было максимальное соблюдение стилевой однородности исследуемых текстов вкупе с максимально возможным объемом выборки. При отборе текстов изначальный приоритет отдавался памятникам, максимально близким разговорному языку своего времени. Среди всех древнерусских текстов XI –1-й половины XVII вв. различные исследователи данного вопроса в качестве таковых называют следующие произведения:

1) берестяные грамоты, XI–XV вв. [Зализняк, 2003];

2) раздел Киевской летописи, содержащий непосредственные диалоги князей, XII в. [Зализняк, 2008, с. 255];

3) «Хожение за три моря» Афанасия Никитина, XV в. [Там же];

4) послания Ивана Грозного (за исключением послания Кирилло-Белозерскому монастырю), XVI в. [Лихачев, Лурье, 1951, с. 71; Зализняк, 2008, с. 255];

5) анонимный русско-нижненемецкий разговорник *Ein Rusch Boeck* ‘Русская книга’, сер. XVI в. [Fałowski, 1996];

6) русско-нижненемецкий разговорник Томаса Фенне, 1607 г. [Зализняк, 1998];

7) диалогическая речь летописей [Лихачев, 1947, с. 114].

Тем не менее общий объем релевантных именных клауз во всех этих памятниках, за исключением Киевской летописи, не превышал нескольких отдельных примеров, что не позволяло с уверенностью строить обобщения для языка в целом. В силу этих причин было принято решение расширить исследуемый корпус. Основным критерием для отбора новых текстов была их максимальная языковая близость к упомянутым выше памятникам. Таким образом, в центре внимания оказались все остальные некнижные тексты – прежде всего, деловые памятники.

Главным языковым отличием деловых текстов от бытовых является обилие повторяющихся этикетных формул [Хабургаев, 1978, с. 45; Улуханов, 2010, с. 140 и сл.; Живов, 2017, с. 496]. В силу этого, с целью создания однородной выборки, было принято решение предварительно изъять все такие повторения. Применительно к именным клаузам была обнаружена, однако, только одна подобная формула, а именно – устойчивая начальная модель *другу есми твоему друг*, *а недругу недруг*, *еси с нами заодин* / *есми один человек*, представленная в 85 из 101 документа Посольской книги по связям России с Крымом (кон. XV в.):

(12) ПосКр-30
на той правде прямо стоим, ***другу есми твоему друг***,
а недругу недруг; *…и ты бы на той правде прямо стоял*,
другу бы еси моему друг был, *а недругу недруг*, *а* ***был бы еси***
со мною на своих и на моих недругов ***заодин***.

(13) ПосКр-34
на том и стоишь, ***другу еси моему друг***, ***а недругу недруг***;
а на вопчих наших недругов… ***еси с нами заодин***.

Все эти клаузы были исключены из выборки. Остальные модели не обнаружили существенных отличий от бытовых текстов и были приобщены к их данным.

2.2. Дальнейшая стратегия отбора клауз

После первичного объединения всех единиц данных в корпус на следующем этапе анализа была осуществлена фильтрация тех клауз, где пропуск местоимения был в принципе невозможен, поскольку

подобные «обязательные» местоимения (т.е. в контрастивном и эмфатическом значении) характерны для всех языков, где имеется категория субъектного местоимения, в том числе и тех, где референция в немаркированных случаях осуществляется с помощью глагольных аффиксов [Rizzi, 1997, p. 286; Cardinaletti, 2004, p. 149]; и поэтому не могут служить маркерами новой референциальной модели. Фильтрация клауз осуществлялась на основании внешних признаков, во многом совпавших на большем массиве данных с критериями, предложенными А.А. Зализняком для берестяных грамот [Зализняк, 2008, с. 242]. Основные случаи «обязательных» местоимений составили следующие две группы:

– если подлежащее находится в смысловом противопоставлении (или сопоставлении) с подлежащим (или иным членом) предшествующей клаузы:

(14) *ты еси мой* ***а я твой*** (БГ-377);

– если подлежащее входит в состав сочиненной группы (соединенной союзами или бессоюзно) или если к нему относятся частицы *и* (усилительное), *не*, *ни*.

(15) *вълъзи* ***ты*** *и* ***жена твоя и сынове твои*** (ПВЛ).

Остальные модели были привлечены к дальнейшему анализу. Итоговый объем всех исследованных релевантных клауз составил 313 единиц.

3. Поэтапный диахронический обзор в свете новых данных

3.1. Общие положения об именных клаузах

В большинстве работ, так или иначе затрагивающих проблему русской референциальной перестройки, именные клаузы либо не рассматриваются вовсе, либо в общих словах упоминаются вместе с перфектными как частный случай связочных клауз. Исключение составляют работы А.А. Зализняка, согласно которым экспансия местоимений в глагольных клаузах происходит ранее всего и наблюдается уже в берестяных грамотах XI–XV вв. [Зализняк, 2004, 2008], где в конструкциях с именным сказуемым-существительным «почти достигнуто современное состояние, а именно, в 10 случаях из 11 представлены фразы типа *а не сестра я вамо* (а не типа *а не сестра есмь вамо*)» [Зализняк, 2008, с. 255].

Текущий анализ, предпринятый по итогам этих соображений, затрагивал следующие основные пункты:

1) проверить исходный тезис о раннем завершении экспансии местоимений в именных клаузах со сказуемым-существительным на более широком материале;

2) проследить всю хронологию становления новой стратегии с субъектным местоимением и зафиксировать момент, когда она стала доминировать, отдельно для 1-го и 2-го vs 3-го лица;

3) проследить всю хронологию падения глагольных связок отдельно для 1-го и 2-го vs 3-го лица и связать ее с описанной ранее экспансией местоимений;

4) установить роль и место трехчленных моделей из местоимения, глагола-связки и именной части сказуемого в общем процессе эволюции;

5) по возможности, по итогам полученных данных, ответить на вопрос о том, было ли падение связок непосредственной причиной экспансии местоимений или нет.

Все эти пункты будут освещены в разделах 3.2–3.3.

3.2. Показания текстов: общие данные о местоимениях и связках

На первом этапе анализа все клаузы (313 единиц) были распределены по временным периодам и типу представленной модели. С учетом проверяемой гипотезы о более ранней экспансии местоимений в клаузах 1-го и 2-го лица со сказуемым-существительным, субстантивные и адъективные предикаты в 1-м и 2-м лице рассматривались отдельно. Для 3-го лица, с учетом существенно меньшего количества данных, данные предикаты не разделялись.

Хронологическое деление осуществлялось по следующим четырем периодам:

1) XI–XII вв.;

2) XIII – 1-я пол. XIV вв.;

3) 2-я пол. XIV – XV вв.;

4) XVI – 1-я пол. XVII вв.

Данное временное разделение в целом соответствует принципу, принятому в [Зализняк, 2004] на корпусе берестяных грамот (первые 3 периода). Принимая во внимание упомянутый выше тезис о том, что к концу XVII в. русская референциальная стратегия фактически не отличается от современной, в текущем исследовании был также выделен предшествующий период, с XVI по 1-ю пол. XVII вв., для которого предполагалось завершение референциальной эволюции.

Итоговое соотношение встретившихся клауз представлено в таблице 1.

Таблица 1

Общее число встретившихся моделей 1-го, 2-го vs 3 лица в корпусе из 313 клауз

Тип модели	XI–XII вв.	XIII в. – 1-я пол. XIV в.	2-я пол. XIV в. – XV в.	XVI в. – 1-я пол. XVII в.
я есмь князь	31 (70%)	3 (25%)	3 (8%)	3 (27%)
я ø князь	5 (11%)	5 (42%)	15 (42%)	7 (63%)
князь есмь	8 (19%)	3 (25%)	17 (47%)	1 (10%)
князь ø	0 (0%)	1 (8%)	1 (3%)	0 (0%)
я есмь виноват	25 (42%)	1 (8%)	2 (5%)	0 (0%)
я ø виноват	3 (5%)	5 (38%)	11 (26%)	9 (70%)
виноват есмь	31 (53%)	7 (54%)	25 (60%)	4 (30%)
виноват ø	0 (0%)	0 (0%)	4 (9%)	0 (0%)
он есть князь/виноват	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
он ø князь/виноват	2 (6%)	0 (0%)	6 (43%)	35 (97%)
князь/виноват есть	28 (90%)	2 (100%)	2 (14%)	0 (0%)
князь/виноват ø	1 (4%)	0 (0%)	6 (43%)	1 (3%)

3.2.1. Проверка гипотезы о более ранней экспансии местоимений в клаузах с субстантивным предикатом

Для проверки этой гипотезы все анализируемые клаузы были распределены по двум выборкам по наличию/отсутствию местоимения, глагольная связка на данном этапе не принималась во внимание. Затем в программе SPSS при помощи биноминального критерия (на малых выборках он считается более точным, чем χ-квадрат) осуществлялась статистическая проверка гипотезы H_0 о равном соотношении[1] местоименных и безместоименных клауз во всей генеральной совокупности.

[1] Данный тезис о равном соотношении местоименных и связочных моделей является не предметной точкой зрения автора, а сугубо математическим принципом, необходимым для статистической проверки гипотезы о значимом доминировании одних моделей над другими: идея проверки состоит в предварительном предположении о равенстве, которое затем опровергается с помощью статистики, в связи с чем делается соответствующий вывод о доминировании одной из сторон.

Если уровень значимости (p-value), полученный при проверке H_0, не превосходил 0,05, то гипотеза отклонялась, и делался вывод о статистически значимом доминировании тех или иных моделей. Если же полученный уровень составлял более 0,95, то гипотеза о равной доле местоименных и безместоименных клауз принималась. В случае, если значение p находилось в промежутке от 0,05 и 0,95, то конкретных выводов не делалось.

Итоговые результаты представлены в таблице 2 и на рисунке 1.

Таблица 2

Статистическая проверка гипотезы о становлении местоименной модели

Тип модели	**XI–XII вв.**	**XIII в. – 1-я пол. XIV в.**	**2-я пол. XIV в. – XV в.**	**XVI в. – 1-я пол. XVII в.**
я (*есмь*) *князь*	36 $p = 0{,}00^*$	8 $p = 0{,}39$	18 $p = 1{,}00^*$	10 $p = 0{,}01^*$
князь (*есмь*)	8	4	18	1
я (*есмь*) *виноват*	28 $p = 0{,}8$	6 $p = 0{,}7$	13 $p = 0{,}02^*$	9 $p = 0{,}27$
виноват (*есмь*)	31	7	29	4
он (*есть*) *князь* / *он* (*есть*) *виноват*	2 $p = 0{,}00^*$	0 $p = 0{,}5$	6 $p = 0{,}79$	35 $p = 0{,}00^*$
князь (*есть*) / *виноват* (*есть*)	29	2	8	1

* Статистически значимые результаты.

Данные этого анализа в целом подтвердили гипотезу о раннем доминировании местоименной модели в именных клаузах 1-го и 2-го лица с субстантивным предикатом, хотя и внесли в нее ряд оговорок. Так, гипотеза подтвердилась для самого раннего этапа: в XII в. в клаузах со сказуемым-существительным модель с субъектным местоимением уже значимо преобладает над безместоименной моделью (рис. 1). Однако в дальнейшем происходит своего рода поворот в изменениях: во 2-й половине XIV в. – XV в. уже наблюдается примерно равное соотношение моделей с местоимением и без. Затем число местоименных моделей 1-го и 2-го лица вновь растет и в XVI в. уже опять значимо преобладает над безместоименными моделями. Однако встреченный «зигзаг» в виде утраты доли местоименных моделей, впоследствии

сменившейся очередным ростом, несомненно, требует более глубокого изучения.

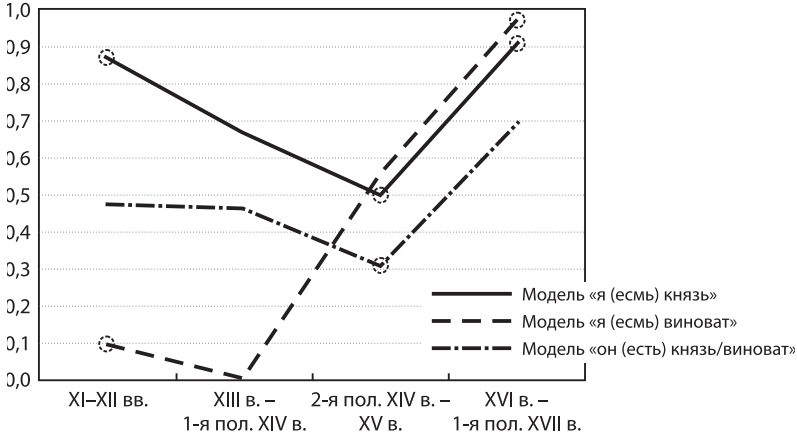

Рис. 1. Доли конструкций с субъектным местоимением среди всех именных клауз с редуцированной субъектной референцией на основе анализируемого корпуса, кружком обведены статистически значимые результаты

Что касается клауз со сказуемым-прилагательным (модели *я* (*есмь*) *виноват*), то на данном анализируемом корпусе они обнаружили точно такую же траекторию развития, как и субстантивные, однако доля местоимений в них стабильно оставалась приблизительно на 20% ниже, чем в клаузах с существительным. В силу ограниченного объема данных значимость для адъективных предикатов была доказана только на этапе 2-й половины XIV в. – XV в., однако важно, что на этом же этапе была доказана более высокая доля местоимений с субстантивными предикатами.

Местоимения же 3-го лица вплоть до середины XIV в. в немаркированной позиции фактически не встречаются вовсе, оставляя, таким образом, самую первую «волну» экспансии местоимений исключительно за 1-м и 2-м лицом. Впоследствии местоимения 3-го лица значительно расширяют сферу своего использования и к середине XVII в. даже несколько обгоняют 1-е и 2-е лицо, однако самая ранняя распространившаяся местоименная стратегия к 3-му лицу отношения не имеет и напрямую затрагивает только местоимения 1-го и 2-го лица.

Таким образом, можно говорить о том, что гипотеза о самой ранней местоименной экспансии в древнерусском языке в отношении клауз 1-го и 2-го лица с субстантивным предикатом подтвердилась. Тем не менее, данная гипотеза является намного более общей, чем упомянутый

тезис А.А. Зализняка, в котором говорится не просто о становлении местоименной стратегии как таковой, а о массовом переходе на более частную модель современного типа *я князь* (10 случаев из 11 на материале берестяных грамот). Данный факт, однако, не подтверждается на более широком материале данного корпуса, поскольку связочная модель – как с местоимением, так и без – периодически встречается даже в самых поздних текстах, и окончательного перехода к прогнозируемому, по данным А.А. Зализняка, «современному состоянию», вплоть до конца XVII в. не происходит. В этом плане показателен тот факт, что единственный пример без местоимения и со связкой, встретившийся в русско-нижненемецком разговорнике AnRB (кон. XVI в.), является как раз именной клаузой со сказуемым-прилагательным (16):

(16) *Jas chotzu w tom po Calowati cto* ***Jesmi Newinowat*** (AnRB)
‘Я хочу передать то, что (я) не виноват’.

Данную особенность никак нельзя отнести к какому-либо возможному влиянию родного нижненемецкого языка автора, поскольку в нем конструкции без субъектного местоимения были в принципе неграмматичны. Подобные конструкции находят параллели и в аутентичных русских памятниках, в т. ч. написанных гораздо позже:

(17) *Сами же и с своими войсками с тобою итти*
на Псков град ***готови есмя*** (СтефБат, кон. XVI в.).

(18) ***холоп ли еси*** *княгине Анне Щенятеве*
(АктЮр 22, 1-я пол. XVII в.).

Тем самым очевидно, что модель с глагольной связкой типа *есмь князь* / *есмь виноват в* русском языке XVII в. нельзя связывать с какими-либо возможными авторскими окказионализмами, по-видимому, она в это время еще действительно употреблялась в языке. В связи с этим все более актуальным становится отдельный диахронический анализ утраты связок для установления их роли в процессе русской референциальной перестройки.

3.2.2. Глагольные связки в процессе экспансии местоимений

Для данного анализа все клаузы были распределены по двум выборкам по наличию/отсутствию глагольной связки, вне зависимости от наличия/отсутствия личного местоимения. После этого в программе SPSS при помощи биноминального критерия осуществлялась попарная статистическая проверка гипотезы H_0 о равном соотношении связочных и бессвязочных моделей для всей генеральной совокупности. Данная

проверка происходила таким же образом, как в разделе 3.2.1. Полученные результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3

Статистическая проверка гипотезы о соотношении связочных и бессвязочных моделей

Тип модели	XI–XII вв.	XIII в. – 1-я пол. XIV в.	2-я пол. XIV в. – XV в.	XVI в. – 1-я пол. XVII в.
(*я*) ø *князь*	5 $p = 0{,}00^*$	6 $p = 1{,}00^*$	16 $p = 0{,}62$	7 $p = 0{,}55$
(*я*) *есмь князь*	39	6	20	4
(*я*) ø *виноват*	3 $p = 0{,}00^*$	5 $p = 0{,}58$	15 $p = 0{,}09$	9 $p = 0{,}27$
(*я*) *есмь виноват*	56	8	27	4
он ø *виноват*	3 $p = 0{,}00^*$	0 $p = 0{,}5$	12 $p = 0{,}01^*$	36 $p = 0{,}00^*$
(*он*) *есть виноват*	28	2	2	0

* – статистически значимые результаты.

Согласно полученным данным, на самом раннем этапе эволюции (XII–XIII вв.) наблюдается значимое доминирование связочных моделей над бессвязочными, как для 1-го и 2-го, так и для 3-го лица. С учетом того, что на этом же этапе в клаузах 1-го и 2-го лица со сказуемым-субстантивом уже преобладает местоименная стратегия (рис. 1), можно заключить, что данная экспансия местоимений никак не является последствием утраты связок, поскольку они еще значимо присутствуют более чем в половине случаев. Тем самым гипотезу о падении связок 3-го лица как первопричине всей дальнейшей эволюции для самого раннего задокументированного этапа приходится отклонить.

Тем не менее стоит отметить, что траектория падения связок существенно отличается для разных лиц, и в 3-м лице переход от связочной модели к бессвязочной происходит значительно раньше и резче, чем в 1-м и 2-м лице (рис. 2). Уже в XIV в. мы наблюдаем практически полное отсутствие связок 3-го лица, тогда как в 1-м и 2-м лице соотношение связочных и бессвязочных конструкций еще примерно равное. С учетом того, что в дальнейшем в русском языке связки 1-го и 2-го лица также утратились, нельзя исключить, что более ранняя утрата связок 3-го лица

могла дополнительно «подстегнуть» этот процесс и в той или иной мере ему способствовать. Однако к самой ранней задокументированной экспансии местоимений процесс утраты связок, по-видимому, отношения не имеет.

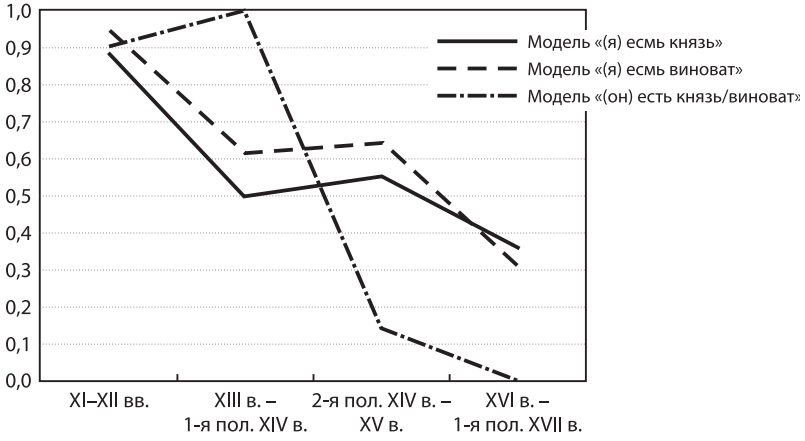

Рис. 2. Доля клауз с глаголом-связкой среди всех именных клауз с редуцированной субъектной референцией

В этой связи на первый план выходит следующий ключевой вопрос – о роли трехчленных моделей в общем процессе эволюции.

3.3. Трехчленные модели в процессе референциальной перестройки

С учетом полученных значимых данных об одновременном присутствии в самых древних текстах как местоимений, так и связок (иными словами – трехчленных моделей типа *я есмь князь*), наравне с высказываемыми рядом ученых мнениями о редкости таких конструкций, возникает необходимость отдельного их анализа и установления окончательной роли этих моделей в процессе русской референциальной эволюции. Для этого все собранные клаузы были хронологически распределены в 2 выборки в зависимости от модели (трехчленная vs двучленная[1]) и подвергнуты статистическому анализу, аналогичному процедуре 3.2.1–3.2.2.

Итоговые результаты подтвердили значимое преобладание трехчленных моделей для 1-го и 2-го лица в клаузах с субстантивным предикатом на этапе XII–XIII вв. и вместе с тем показали, что уже к XIV в.

[1] Одночленные эллиптичные конструкции были единичными и в данном анализе не участвовали.

оно сошло на нет: основной референциальной стратегией в это время уже является одна из двучленных моделей. В 3-м же лице трехчленные модели даже в самых ранних текстах практически не встречаются (таблица 4, рис. 3).

Таблица 4

Статистическая проверка гипотезы о соотношении трехчленных и двучленных моделей

Тип модели	**XI–XII вв.**	**XIII – 1-я пол. XIV вв.**	**2-я пол. XIV – XV вв.**	**XVI – 1-я пол. XVII вв.**
я есмь князь	31 $p = 0{,}01^*$	3 $p = 0{,}23$	3 $p = 0{,}00^*$	3 $p = 0{,}23$
я князь / князь есмь	13	8	20	8
я есмь виноват	25 $p = 0{,}30$	1 $p = 0{,}04^*$	2 $p = 0{,}00^*$	0 $p = 0{,}00^*$
я виноват / виноват есмь	34	8	26	13
он есть виноват	0 $p = 0{,}00^*$	0 $p = 0{,}5$	0 $p = 0{,}01^*$	0 $p = 0{,}00^*$
он виноват / виноват есть	30	2	8	35

Общее число трехчленных моделей в корпусе исследуемых текстов составило 68 единиц (22%). Подавляющее большинство их встретилось в примерах прямой речи из летописей, однако небольшой процент вплоть до середины XVII в. стабильно присутствовал и в стилистически однородных некнижных текстах:

(19) *Аз погана есмь* (ПВЛ, XI в.).

(20) *вы есте людие дъда моего и отца моего* (Киев-Д, XII в.).

(21) *аз сам есмь готов за того тебе на помочь всею моею силою* (Укр-26, XIV в.).

(22) *ты на сем свете вере еси нашей подпора* (ПосКр-19, XV в.).

(23) *Ty jesy omanszik* (AnRB, XVI в.).

(24) *А родом есьми аз истаринший человек* (ЕршЕрш, XVII в.).

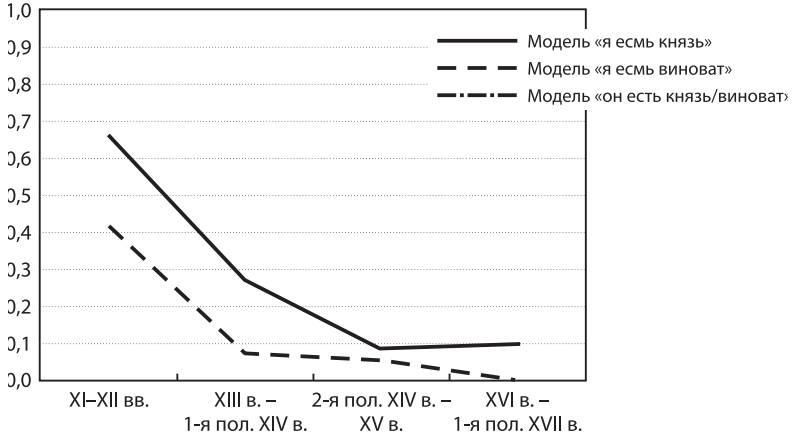

Рис. 3. Доля трехчленных моделей с местоимением 1-го и 2-го лица среди всех именных клауз с редуцированной субъектной референцией

Эти факты позволяют с достаточной уверенностью говорить о том, что трехчленные модели не являлись какой-либо индивидуальной чертой конкретного писателя, способной исказить выборку, а действительно достаточно долго употреблялись в языке и воспринимались носителями как абсолютно грамматичные. В этой связи стоит еще раз рассмотреть замечание А.А. Зализняка о редкости этих моделей в памятниках, близких к живой речи (в частности, берестяных грамотах): действительно, во всем корпусе берестяных грамот XI–XV вв. такая модель встретилась только 1 раз (см. (14)), что, на первый взгляд, ставит под сомнение высказанный выше тезис.

Однако при анализе грамот в контексте корпуса значительно большего объема видно, что значимое доминирование стратегии с двойным маркированием референта приходится как раз на самый ранний письменно засвидетельствованный период памятников – до XIII в. С учетом того, что объем релевантных именных клауз в более ранних грамотах составляет лишь 19 единиц, поскольку большинство берестяных грамот относится к более позднему периоду, ничего удивительного, что в них подобные модели уже не встречаются. В этой связи показательно, однако, что единственный пример трехчленной модели присутствует в одной из самых ранних грамот начала XII в., что согласуется с данными о доминировании этих конструкций в древнерусском языке на самом раннем этапе. Тем не менее, в силу отсутствия письменных памятников этого периода проследить точную историю становления трехчленных

моделей не представляется возможным. Однако не вызывает сомнения, что они являются самым первым задокументированным признаком начавшейся экспансии местоимений в древнерусском языке.

Дальнейшее развитие трехчленных конструкций также проясняет ряд спорных вопросов в истории русской референциальной эволюции, в частности, особую «зигзагообразную» траекторию экспансии местоимений 1-го и 2-го лица (см. раздел 3.2.1). Так, значимая утрата части местоименных клауз с субстантивным предикатом к XV в. объясняется тем, что к этому времени трехчленные конструкции, некогда бывшие основным средством референциального маркирования, фактически «распались» на две конкурирующие двучленные модели с субъектным местоимением либо глагольной связкой в качестве ведущего референциального показателя. Этот факт согласуется с наблюдением ряда исследователей о том, что по отношению друг к другу данные модели уже «начиная с самых ранних бытовых и юридических текстов» [Хабургаев, 1978, с. 45] воспринимались как контекстуальные синонимы: «анализ литературных текстов… показывает, что формы *есмь*, *еси* (и т.д.) выступают исключительно как п о к а з а т е л и л и ц а (а не времени!), оказываясь синтаксическими синонимами личных местоимений» [Там же], см. также [Зализняк, 2004, с. 179]. Тем самым, по сути, новая двучленная модель с глагольной связкой лишь по форме совпадает с предполагаемой моделью для протопериода до экспансии местоимений – основное грамматическое значение вспомогательного глагола в новой модели уже утрачено. В ходе анализа это подтвердилось и на более широком материале именных клауз с помощью критерия отрицания: уже в самых ранних некнижных текстах оно встречалось только при именной части сказуемого, а не при вспомогательном глаголе (ср. схожие наблюдения [Хабургаев, 1978, с. 46] для перфектных клауз):

(25) *я брате тѣмь* не ***труденъ есмь*** (ПВЛ, XI в.).

(26) ***а не виновате есьмъ*** *ни вѣк*(ъ)*шею* (БГ-834, XII в.).

(27) *тем* ***есмя*** *ему не* ***виноваты*** (ГВНП-132, XIV в.).

Очевидно, несколько веков одновременного сосуществования двух двучленных стратегий (рис. 1), воспринимаемых носителями как полные синонимы, в конечном итоге привели к выравниванию языковой парадигмы с установлением одной модели как единственно употребительной. Итоговый выбор во всех лицах был сделан в пользу местоименной стратегии – не исключено, что под влиянием новых местоимений 3-го лица, распространившихся в языке в связи с падением соответствующих глагольных связок к XV в.

Тем самым, основные этапы эволюции, прослеженной на материале именных клауз, можно свести к следующей хронологической схеме (первый этап является реконструируемым).

1. Общеславянский период: аффиксальная стратегия маркирования референции, местоимения употребляются только в ограниченных маркированных случаях (эмфаза, контраст и т.д.).

2. XII в. Установилась трехчленная модель с местоимением, глаголом-связкой и именной частью сказуемого *ты еси князь* / *ты еси виноват в* качестве основной стратегии маркирования референта в 1-м и 2-м лице.

3. XIII – 1-я пол. XIV вв.:

– утрата связок 3-го лица, появление первых местоимений 3-го лица в неэмфатическом употреблении;
– утрата трехчленной модели в 1-м и 2-м лице как основной стратегии маркирования и расщепление ее на 2 синонимичные модели *князь еси* / *ты князь*.

4. XIV–XV вв. Резкое распространение субъектных местоимений 3-го лица и вслед за ним – постепенный выбор стратегии с местоимениями 1-го и 2-го лица в качестве основной.

5. XVI–XVII вв. Завершение экспансии местоимений во всех лицах. Переход к современному состоянию.

4. Заключение

Представленная работа является диахроническим исследованием максимально возможного числа именных клауз русского языка, с учетом стилевой однородности соответствующих текстов. Собранный в ходе исследования различных корпусов и библиотек материал помог прояснить самый ранний механизм русской референциальной перестройки, а именно – установить, на каком этапе модель с субъектным местоимением впервые стала доминировать в древнерусском языке. Данная гипотеза была проверена на материале именных клауз, поскольку именно они ранее предполагались в работах [Зализняк, 2004, 2008] в качестве первого маркера новой местоименной стратегии. Выяснено, что самый ранний этап эволюции непосредственно связан с распространением трехчленных моделей из местоимения, глагольной связки и именной части сказуемого в период до XII в. Параллельно было установлено, что первичная утрата глагольных связок 3-го лица никак не могла послужить причиной самой ранней экспансии местоимений. Тем самым, применительно к общей схеме русской референциальной эволюции, диахронический анализ, проведенный в данной работе, заставляет сделать выбор в пользу гипотезы о первичном характере

экспансии местоимений по отношению к утрате глагольных связок [Зализняк, 2004]. Вместе с тем не исключена роль падения связок 3-го лица в более позднем распространении местоимений в глагольных клаузах, однако для самого раннего задокументированного этапа имеющиеся данные свидетельствуют против первичности утраты связок по отношению к распространению местоимений.

Причины, вызвавшие изначальную экспансию местоимений в древнерусском языке, на данный момент остаются открытыми. В [Kibrik, 2013] высказывается гипотеза о том, что изначальная экспансия могла быть отголоском внешнего германского влияния, с учетом общей типологической редкости соответствующей референциальной стратегии. Тем не менее, на данный момент данные о каких-либо интенсивных германско-русских контактах XI–XII вв., способных привести к такому глубокому синтаксическому заимствованию, отсутствуют, что заставляет, в первую очередь, искать причины во внутренней структуре языка. Поиск таких синтаксических и/или семантических особенностей именных клауз является задачей будущих исследований.

Библиографический список / References

Борковский, Кузнецов, 2006 – Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. М., 2006. [Borkovskii V.I., Kuznetsov P.S. Istoricheskaya grammatika russkogo yazyka [A historical grammar of Russian]. Moscow, 2006.]

Горшкова, Хабургаев, 1981 – Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. М., 1981. [Gorshkova K.V., Khaburgaev G.A. Istoricheskaya grammatika russkogo yazyka [A historical grammar of Russian]. Moscow, 1981.]

Грицкат, 1954 – Грицкат И. О перфекту без помоћног глагола у српскохрватском језику и сродним синтаксичким појавама. Београд, 1954. [Grickat I. O perfektu bez pomoćnog glagola u srpskohrvatskom ǰeziku i srodnim sintaksičkim poǰavama. [On zero-copula perfect in Serbo-Croatian and related syntactic phenomena]. Beograd, 1954.]

Живов, 1996 – Живов В.М. Очерки исторической морфологии русского языка XVII–XVIII веков. М., 2004. [Zhivov V.M. Ocherki istoricheskoi morfologii russkogo yazyka XVII – XVIII vekov [Essays on the historical morphology of the Russian language of the 17th–18th centuries]. Moscow, 2004.]

Живов, 2017 – Живов В.М. История языка русской письменности. М., 2017. [Zhivov V.M. Istoriya yazyka russkoi pis'mennosti [The history of the language of Russian writing system]. Moscow, 2017.]

Зализняк, 1998 – Зализняк А.А. Из наблюдений над «Разговорником» Фенне // Polytropon. К 70-летию Владимира Николаевича Топорова / Отв. ред. Т.М. Николаева. М., 1998. С. 235–275. [Zaliznyak A.A. Iz nablyudenii nad «Razgovornikom» Fenne [From observations on Tönnies Fenne's "Phrasebook"].

Polytropon. K 70-letiyu Vladimira Nikolaevicha Toporova. Nikolaeva T.M. (ed.). Moscow, 1998. Pp. 235–275.]

Зализняк, 2003 – Зализняк А.А. Значение берестяных грамот для истории русского языка // Берестяные грамоты: 50 лет открытия и изучения / Отв. ред. В.Л. Янин. М., 2003. С. 218–223. [Zaliznyak A.A. The importance of birchbark letters for the history of the Russian language. *Berestyanye gramoty: 50 let otkrytiya i izucheniya.* Yanin V.L. (ed.). Moscow, 2003. Pp. 218–223.]

Зализняк, 2004 – Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. М., 2004. [Zaliznyak A.A. Drevnenovgorodskii dialect [Old Novgorodian dialects]. Moscow, 2004.]

Зализняк, 2008 – Зализняк А.А. Древнерусские энклитики. М., 2008. [Zaliznyak A.A. Drevnerusskie enklitiki [Old Russian enclitics]. Moscow, 2008.]

Иванов, 1982 – Иванов В.В. История временных форм глагола // Аванесов Р.И., Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол. М., 1982. С. 28–131. [Ivanov V.V. The history of verbal tense forms. *Istoricheskaya grammatika russkogo yazyka*. *Morfologiya. Glagol.* Avanesov R.I., Ivanov V.V. (eds.) Moscow, 1982. Pp. 28–131.]

Лихачев, Лурье, 1951 – Лихачев Д.С., Лурье Я.С. Послания Ивана Грозного. М.-Л., 1951. [Likhachev D.S., Lur'e Ya.S. Poslaniya Ivana Groznogo [The messages of Ivan the Terrible]. Moscow-Leningrad, 1951.]

Улуханов, 2002 – Улуханов И.С. О языке Древней Руси. М., 2002. [Ulukhanov I.S. O yazyke Drevnei Rusi [On the language of Kievan Rus]. Moscow, 2002.]

Успенский, 1994 – Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994. [Uspenskii B.A. Kratkii ocherk istorii russkogo literaturnogo yazyka (XI–XIX vv.) [A short essay on the history of the Russian literary language (XI–XIX centuries)]. Moscow, 1994.]

Успенский, 2002 – Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI–XVII вв.). М., 2002. [Uspenskii B.A. Istoriya russkogo literaturnogo yazyka (XI–XVII vv.) [The history of the Russian literary language (XI–XIX centuries)]. Moscow, 2002.]

Хабургаев, 1978 – Хабургаев Г.А. Судьба вспомогательного глагола древних славянских аналитических форм в русском языке // Вестник МГУ. Сер. 9 (филология). 1978. № 4. С. 42–53. [Khaburgaev G.A. The destiny of the auxiliary verbs in the Old Slavic analytic forms in Russian. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9: Filologiya*. 1978. № 4. Pp. 42–53.]

Черных, 1952 – Черных П.Я. Историческая грамматика русского языка. М., 1952. [Chernykh P.Ya. Istoricheskaya grammatika russkogo yazyka [A historical grammar of Russian]. Moscow, 1952.]

Adams, 1987 – Adams M.P. Old French, null subjects and verb second phenomena. PhD thesis. Los Angeles, University of California, 1987.

Adams, Mallory, 2006 – Adams D.Q., Mallory J.P. The Oxford introduction to proto-indo-european and indo-european world. Oxford, 2006.

Bhat, 2007 – Bhat D.N.S. Pronouns. New York, 2007.

Cardinaletti, 2004 – Cardinaletti A. Towards a Cartography of Subject Positions. *The Cartography of Syntactic Structures. Vol. 2: The Structure of CP and IP*. Oxford, 2004. Pp. 115–165.

Dryer, 2011 – Dryer M.S. Expression of Pronominal Subjects. *World Atlas of Language Structures. The Interactive Reference Tool*. Dryer M.S., Haspelmath M. (eds.) Munich, 2011. Chapter 101.

Eggenberger, 1961 – Eggenberger J. Das Subjektpronomen im Althochdeutschen. Ein syntaktischer Beitrag zur Frühgeschichte des deutschen Schrifttums. Chur, 1961.

Hopper, 1975 – Hopper P.J. The syntax of the simple sentence in Proto-Germanic. The Hague and Paris, 1975.

Jakobson, 1971 – Jakobson R. Les enclitiques slaves. *Selected Writings*, Vol. II. The Hague, 1971/1935. Pp. 16–22. (Original publication: Atti del Congresso di Linguistica tenuto in Roma il 19–26 Settembre 1933. Firenze, 1935.)

Kibrik, 1996 – Kibrik Andrej A. Anaphora in Russian narrative prose: A cognitive calculative account. *Studies in Anaphora*. B.A. Fox (ed.) Amsterdam, 1996. Pp. 266–303.

Kibrik, 2004 – Kibrik Andrej A. Zero anaphora vs zero person marking in Slavic: A chicken/egg dilemma? *Proceedings of the 5th Discourse Anaphora and Anaphor Resolution Colloquium* (*DAARC*). Lisbon, 2004. Pp. 87–90.

Kibrik, 2011 – Kibrik Andrej A. Reference in discourse. Oxford, 2011.

Kibrik, 2013 – Kibrik Andrej A. Peculiarities and origins of the Russian referential system. *Languages Across Boundaries: Studies in Memory of Anna Siewierska*. Berlin, 2013. Pp. 227–263.

Lindseth, 1998 – Lindseth M. Null-subject properties of Slavic languages: with special reference to Russian, Czech and Sorbian. München, 1998.

Meyer, 2011 – Meyer R. The History of Null Subjects in North Slavonic. A Corpus-based Diachronic Investigation. Habilitationsschrift, Universität Regensburg, 2012.

Rizzi, 1997 – Rizzi L. A Parametric Approach to Comparative Syntax. Properties of the Pronominal System. *The New Comparative Syntax*. London, 1997. Pp. 268–285.

Siewierska, 2004 – Siewierska A. Person. Cambridge, 2004.

Walkden, 2014 – Walkden G. Syntactic Reconstruction and Proto-Germanic. Oxford, 2014.

Статья поступила в редакцию 9.06.2017

The article was received on 9.06.2017

Буденная Евгения Владимировна – аспирантка кафедры теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; младший научный сотрудник сектора ареальной лингвистики, Институт языкознания РАН, г. Москва

Budennaya Evgeniya V. – Graduate Student of Department of Theoretical and Applied Linguistics of Faculty of Philology, Lomonosov Moscow State University; Researcher of Department of Applied Linguistics, Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation

E-mail: jane.sdrv@gmail.com

Э. Бужаровска

Университет Святых Кирилла и Мефодия в Скопье,
1000 г. Скопье, Республика Македония

Дифференцированное маркирование объекта в юго-западных македонских диалектах Охрида и Струги

В статье обсуждается дифференцированное маркирование объекта при помощи предложной конструкции в юго-западных македонских диалектах Охрида и Струги. Автор выдвигает предположение, что объяснение этого синхронного явления должно основываться на прагматическо-семантических параметрах. Проведенное исследование показывает, что предлог ***на*** маркирует прямой объект, если его определенному одушевленному референту приписывается важный коммуникативный статус в разговорном дискурсе.

Ключевые слова: прямой объект, одушевленность, коммуникативный статус аргумента, балканские языки.

E. Bužarovska

Ss Cyril end Methodius University in Skopje,
1000, Skopje, Republic of Macedonia

The Contemporary Use of DOM in South-Western Macedonian Dialects

The paper discusses the preposition-based pattern of differential object marking in the south-western Macedonian dialects of Ohrid and Struga. The author hypothesizes that the explanation of this synchronic phenomenon should be based on pragmatic-semantic criteria. The results from the analysis indicate that the preposition ***na*** marks a direct object only if its definite and animate referent is ascribed an important communicative status in spoken discourse.

Key words: direct object, animacy, discourse prominence, Balkan languages.

1. Introduction

This paper examines a peculiar dialectal feature of some peripheral Macedonian dialects absent in other Balkan Slavic languages: a direct object construction involving the preposition *na* as in (1). In other dialects and in standard Macedonian, the sentence in (1) is without *na* (*Go gledam Marko*).

(1) *Go* *gledam* *na* *Marko*.
CL.3MSG.ACC see.PRS.1SG DOM Marko
'(I) see Marko.'

The use of *na* with a direct object (1) instantiates a typological feature known as differential object marking (henceforth DOM). DOM is a rather common cross-linguistic phenomenon in over 300 languages [Bossong, 1984; de Swart, 2007], among which are Spanish, Turkish, Persian, Syrian, Hindi, Hebrew, Mongol, Tagalog, etc. Romance languages employ a preposition-based strategy: *a* in Spanish [cf. von Heusinger, Kaiser, 2003] and *pe* in Romanian [Chiriacescu, von Heusinger, 2010]. The *pe*-marking has been borrowed by the east Bulgarian dialects in Romania [Mladenov,1993]. A similar prepositional strategy with definite direct objects is used in southern and south-western Macedonian dialects [Koneski, 1986].[1] The presence of this typological feature in these dialects was described in Balkan scholarship by Cyxun (1981), Koneski (1986), Topolinjska (1995), Asenova and Aleksova (2008) among others, and was also mentioned in dialectological studies on a particular local dialect from these two areas [Tošev,1970; Shklifov, 1973; Peev, 1979, 1987; Vidoeski, 1984, 1998; Karanfilovski, 1992; Labroska, 2003].

However, this phenomenon has been mainly studied in the context of language contact without taking into account the research on DOM and the respective literature; thus the first use of this term in Balkan Slavic scholarship is found in Adamou (2006). Traditionally, it was described under the term "accusative *na*-construction" [Topolinjska, 1995, p. 93] in Balkan Slavic or "l'objet direct prépositionnel" [Niculescu, 1959][2] and "nota accusativi personalis" [Asenova, Aleksova, 2008] in Balkan Romance. A number of linguists underline the novelty of this construction: Koneski (1986) refers to it as an "interesting innovation", Pencheva [Pencheva, 1998, p. 301] as a radical innovation within Slavic languages.

[1] Definite direct objects in standard Macedonian and in central and western dialects require the obligatory use of pronominal clitics, but they may be optional in eastern and southern dialects.

[2] I am grateful to the anonymous reviewer for pointing out that this term appeared earlier in the Romance tradition in this source.

Among the reasons why this innovative construction belongs to typologically relevant properties of Slavic languages is the fact that it makes use of the grammaticalized preposition *na*,[1] which has several functions in caseless Balkan Slavic languages (Bulgarian and Macedonian): it codes the internal possessor (*kolata na Marko* 'Marko's car') within a noun phrase and functions as a dative marker marking the recipient in transfer constructions (*mu zboruvam na Marko* 'I am talking to Marko'). But in some peripheral Macedonian dialects the dative *na* has been copied in the accusative relation, marking the second human participant in a transitive clause. This led to the neutralizing of the formal opposition between direct and indirect construction, which is yet another manifestation of the instability of dative forms in Balkan languages [Topolinjska, Bužarovska, 2011; Asenova, Aleksova, 2008].

The goal of this paper is to provide an explanation for the contemporary use of DOM in south-western Macedonian dialects of the Ohrid–Struga region (Republic of Macedonia). These dialects are particularly interesting for Balkan linguistics because "the most Balkanized dialects of the five language groups are to be found in Central Balkans, around the lakes Ohrid and Prespa" [Lindstedt, 2014]. Both Macedonian[2] (2a) and Aromanian[3] speakers (2b) in these two towns (and some surrounding villages) on the shore of Ohrid lake may mark animate and definite objects [Markoviḱ, 2007].

(2) a. *Go* *vidov* *na* *Taki.*
b. *L'* *vizdui* *pi* *Taki*.
CL.3MSG.ACC see.PST.1SG DOM Taki
'(I) saw dom Taki.'

The presence of DOM is also attested in the neighboring Debar region in the speech of the Macedonian-speaking Moslem population (3).

(3) *ḱe* *a* *dărzat* *na* *nevestata*
FUT CL.3FSG.ACC hold.PRS.3PL DOM bride.F:DEF
'(they) will keep the bride'.[4]

[1] The primary sense of the preposition *na* 'on' is spatial (*na masata* 'on the table'), but it has numerous extensions in temporal and metaphorical domains (*na pladne* 'at noon', *na zdravje* 'to health').

[2] DOM is not used by all speakers of this dialect: it is not found in ethnic Macedonian villages near Ohrid (e.g. Konjsko, Trpejca, etc).

[3] Except for the Aromanian dialect in the village of Krania (Thessaly, Greece) described in Sobolev (2008) and several villages in Epirus (Greece) [Asenova, Aleksova, 2008] object marking is not registered in other Aromanian dialects (Petar Atanasov, p. c.).

[4] Their language is also characterized by some archaic features [Vidoeski, 1998, p. 225] such as the optional use of synthetic dative forms of masculine proper names (*mu reče Stojanu* 's/he told Stoyan'), and the synthetic genitive-accusative forms of these names (*go vide Stojana* 's/he saw Stoyan').

In view of the fact that the *na*-marking in Ohrid and Struga dialects is restricted to definite and predominantly human objects it is logical to define it as semantically-driven DOM caused by a deviation from the transitive prototype [Comrie, 1989]. On the prototype approach, the subject position is reserved for an animate (human) agent, while the object is an indefinite and affected inanimate patient [Comrie, 1989, p. 128]. A patient animate object diverges from the prototype of a transitive clause [Comrie, 1979, 1989; Aissen, 2003] because its semantic features are typical of subjects. To avoid a possible confusion with the subject, some languages case-mark atypical objects differently. DOM on this approach exemplifies a "grammaticalized way of drawing the listener's attention to the non-canonical mapping of argument positions of a transitive construction" [Lyutikova, Ronko, Zimmerling, 2016, p. 119].

However, not all definite and human objects are *na*-marked in Ohrid and Struga dialects. The variations in marking cannot be fully accounted for solely by semantic factors and require additional inclusion of pragmatic factors related to information structure. We believe that DOM in these dialects is triggered by the interplay of pragmatic and semantic factors: the pragmatic criterion of discourse prominence applies if semantic preconditions related to animacy and definiteness are satisfied. For this reason, the theoretical basis of our analysis presented in the next section encompasses the approaches to DOM involving both semantic and pragmatic properties of marked objects. It is argued that DOM is triggered by information structure role of definite animate direct objects. The speakers of these dialects use DOM to assign a prominent discourse status to the second definite (human) participant in a transitive situation.

The main hypothesis of the paper – that the contemporary use of DOM in these dialects is regulated by the interaction of semantic and pragmatic principles – is supported by empirical data obtained by the questionnaire involving a sample of 150 speakers from Ohrid and Struga. The data are interpreted with reference to the animacy and definiteness hierarchies [Croft, 2003] and to information structure [Dalrymple, Nikolaeva, 2011, p. 14], which relates casemarking to topicality. The analysis of questionnaire results aims to determine whether the above semantic and pragmatic factors potentially condition DOM in these dialects. It is assumed that DOM is applied only to topical objects with certain semantic features, objects that are pragmatically prominent.

The paper is organized in six sections. After providing the theoretical basis of our investigation in the next section, section 3 gives a brief overview of DOM in Macedonian dialects. Section 4 discusses the possible reasons for the emergence of DOM from a diachronic and synchronic perspective.

The central part of the paper, section 5, presents the empirical study on the use of *na*-objects in south-western dialects. The main points of the analysis are underscored in the conclusion.

2. Theoretical considerations

Semantic explanations of DOM are based on the notion of an argument-triggered DOM in which "the properties of the differentially marked argument alone are responsible for a particular marking" [Witzlack-Makarevich, Seržant, 2017]. These authors distinguish between inherent and non-inherent DOM-triggering properties. The inherent lexical semantic features are intergrated into several implicational hierarchies or scales: animacy, person, uniqueness, number. They predict that objects higher on these hierarchies tend to be case-marked. The animacy hierarchy [Silverstein, 1976; Dixon, 1979; Croft, 2003],[1] which follows the ontological scale (humans > animals > inanimates), intersects with the other hierarchies: person (first and second person > third person), uniqueness (proper > common noun), and number (singular > plural > dual). We show that *na*-marking generally follows the animacy and the above semantic hierarchies, but may be overridden by the non-inherent features of the second argument.

These features include the referential and discourse properties of the second argument. Referential features, captured in the Definiteness hierarchy [Croft, 2003, p. 132]: definite > specific (indefinite) > non-specific (indefinite), rely on identifiability of the referent in discourse by both interlocutors (definiteness) or by the speaker (specificity). As already mentioned, *na*-marking applies only to definite individuated participants, although cross-linguistically DOM languages may differ in "extensions of object marking along the animacy/definiteness hierarchy" [Malchukov, 2008, p. 206]. Moreover, all these properties "interact in an intricate fashion" [Witzlack-Makarevich, Seržant, 2017].

The discourse status of the object referent stems from its information structure role in the sentence and a wider discourse environment. Dalrymple and Nikolaeva [Dalrymple, Nikolaeva, 2011, p. 13] propose a topicality theory of DOM "which emphasises the role of information structure in the marking patterns of objects". Topical objects are characterized by pragmatic prominence [Aissen, 2003; Leonetti, 2004; De Swart, 2007]. Dalrymple and Nikolaeva, in the spirit of Lambrecht (1994), define topicality "as a pragmatic relation that holds between a referent and the proposition expressed by an utterance" [Dalrymple, Nikolaeva, 2011, p. 14]. Thus, it is not an inherent property of the referent, but discourse-dependent because it "depends on the speaker's construal of the situation within

[1] Croft's hierarchy, based on the hierarchies in Silverstein (1976) and Dixon (1979) also includes definiteness.

the given communicative context" [Dalrymple, Nikolaeva, 2011, p. 52]. In such situations, the pragmatically presupposed referent of the topical object is placed in the centre of attention and interest in the conversation. They argue that in some languages the use of DOM marking is conditioned on the topical information structure role of non-prototypical objects. The unmarked topic–comment information structure of a transitive clause assumes subject/topic and object/focus alignment: prototypical objects, which introduce a new participant in the discourse, are in focus. However, an animate and definite object, whose referent may be activated from the previous discourse or from common ground shared by the interlocutors, functions as a secondary topic. Hence, objects have two prototypical information structure functions: focus and secondary topic [Dalrymple, Nikolaeva, 2011, p. 173].

The above definition of topicality echoes the one provided by Givón (2001), though the connection between topicality and reference is more clear-cut in the latter. According to Givón [Givón, 2001, p. 227], topicality subsumes two pragmatic aspects of reference: referential accessibility (anaphoric) and thematic importance (cataphoric). The former involves the speaker's judgement about how accessible a referent is to the addressee, while the latter covers "referent-coding devices" which signal "how important the referent is going to be in the subsequent discourse, so that the thematic structure of yet unfolding discourse may be organized around the important referent." [Givón, 2001, p. 228]. Given that most topics are definite and animate, topicality correlates with semantic prominence, which involves the inherent semantic features of this referent.[1] Thus defined, topicality seems to overlap with de Swart's [de Swart, 2007, p. 138] understanding of pragmatic or discourse prominence in terms of centrality of a referent in the discourse. It can be concluded that *na*-marked objects, being topical, possess a certain degree of pragmatic prominence[2] absent in unmarked nontopical objects. The term prominence seems to be more adequate for our analysis, than topicality because the latter traditionally refers to unfocused elements.

3. The distribution of DOM across south-west dialects

As mentioned above, the *na*-accusative pattern in Macedonian dialects is presumed to have been modeled after the dative *na*-pattern where *na* typically marks a human definite recipient. Since humanness and definiteness imply prominence, *na*-marking by analogy may have spread onto unprototypical patients (human and definite). Further entrenchment of this

[1] De Hoop and Malchukov argue that "strong DPs" referring to animate and specific arguments are discourse prominent and influence case-marking [de Hoop, Malchukov, 2007, p. 570].

[2] Topical objects have pragmatically salient referents and therefore carry "relevance presupposition" [Lambrecht, 1994, p. 51].

pattern allowed marking on those definite animate and inanimate participants that were perceived prominent. In Macedonian dialects, a *na*-marked object refers to a human participant who is uniquely identifiable in the discourse by both interlocutors. More rarely this class may include definite animals and inanimate entities. The speaker chooses to assign an important discourse status to a definite animate object when it serves a particular communicative need: mainly to draw listener's attention to this participant and to signal its importance. As a result, the novel *na*-marking has contributed both to the transparency and informativeness of the message, especially in multilingual environments. It should be pointed out that the south-west region has a very complex ethnic and religious make up: the Macedonian-speaking Christian population has lived side by side with Aromanian and Turkish speakers in the towns, which are surrounded by Macedonian-speaking Moslem and Christian villages. The neighboring Debar area, where Albanian-Macedonian bilingualism is common, is populated by ethnic Albanians, Macedonians, Turks and Macedonian-speaking Moslems [Vidoeski, 1998, p. 214]. The latter, known as Torbeš, live in almost all villages in two districts: Župa (roughly between Struga and Debar) and Gora (a stretch along the Albanian border).

According to the dialectal sources, today DOM exists in the following regions in the Republic of Macedonia: the Ohrid-Struga region, the Debar region, the Dojran and Gevgelija regions and marginally in the town of Strumica.[1] It was present in some dialects in Greece (Lagadin / Langada area, Kostur/Kastoria, Enidže Vardar/Yanitsa, Kukuš/Kilkis),[2] but the number of these minority dialect speakers is declining and more recent evidence is lacking.

DOM seems to be a relatively recent phenomenon in Ohrid-Struga region. *Na*-objects are not attested in the vernacular language of Daniel's *Tetraglosson* at the very end of the 18th century [Nichev, 1997] (in view of the fact that the translation from Greek was written in the Ohrid dialect); neither is it present in the local folk poetry collected by the Miladinov brothers in the mid 19th century. Tošev (1970) notes that its use was not registered in 19th century Aromanian texts from Struga but thinks that the Aromanian refugees from Moschopolis/Moscopole (Albania) may have carried this feature into these urban areas.[3]

[1] Strumica is a small town in the east of Republic of Macedonia. This feature is absent in the Strumica dialect apart from the vernacular of some speakers who mark topical animate objects (testimony of Zule Stojanova). They claim that their predecessors were refugees from Kukuš/Kilkis during the Balkan Wars a hundred years ago.

[2] The two toponyms represent the Macedonian and the Greek variants, respectively.

[3] After several pogroms in the second half of 18th century by Ali Paša troops, Moscopole (Voskopoje, Albania), mostly inhabited by Aromanians (also fluent in Greek), was finally destroyed in 1916.

4. Explanation of DOM

Following Koneski (1986), the use of DOM in this region is traditionally ascribed to Aromanian influence: it is claimed that the accusative pattern with a *na*-marked object represents a syntactic loan from the local Aromanian dialect. This position is countered by Asenova and Aleksova (2008), who are inclined to see an independent development of this construction.[1] Similarly to the Aromanian account, the use of DOM in the southernmost Macedonian dialects, which have been in close contact with Greek, is tentatively attributed to Greek influence [Topolinjska, 1995]. Following this line of reasoning [Bužarovska, 2001], points to the existence of a common syntactic pattern for accusative and dative relation in Northern Greek dialects. Both the accusative and the dative patterns employ the accusative singular form of the definite article *ton* (m), *tin* (f) and *to* (n)[2] thereby leveling the structural distinction between them. The filled syntagmatic slot (by a casemarked article) in the accusative pattern may have been reanalyzed as a case marker in contact situations and may have influenced the insertion of *na* into the South Slavic accusative pattern. However, a detailed analysis of the two oldest sources containing this feature undermines the Greek contact hypothesis [Bužarovska, forthcoming], but does not rule out replication of the dialectal Greek accusative-dative pattern. Both texts, the *Kulakia Gospel* [Mazón, Vaillant, 1938] and the collection of fairy tales by Verkoviќ [Penušliski, 1985], were created in the mid 19th century in the "innovation zone" of Balkanisms, as Cyxun (1981) calls it.[3] This area comprised the Low Vardar dialects in the Lagadin region, north and north-east of Thessaloniki (Greece).

An internal origin hypothesis seems viable to explain the rise of this feature in other peripheral dialects. It is highly possible that similar sociolinguistic conditions in this second, south-western "innovation zone" resulted in the rise of DOM. The *na*-accusative construction may have appeared in this multilingual area independently. There is no ample evidence that it was transferred from the southernmost innovation zone of the Lagadin region. In the first innovation zone (Lagadin), the past language situation, reflected in the *Kulakia Gospel*, betrays strong traces of bilingual use and heavy transfer from Greek. The inherited Slavic nominal case system at that time

[1] Asenova (p.c.) thinks that the syncretism of dative and accusative case marking in the Balkan dialects is related to the rise of DOM. More on this topic in Topolińska, Bužarovska (2011).

[2] For instance, with the past form verbs *idha* 'see' and *ipa* 'say' in the sentences *Idha ton Kosta* 'I saw Kosta' and *Ipa ton Kosta* 'I said to Kosta'.

[3] The *Kulakia Gospel* was written in Chalastra village (former Kulakia), north-west of Thessaloniki, while the Verkoviќ's collection of folk tales originates from a wider area to the north of Lagadin (mostly from the small town of Yanitsa/Enidže Vardar).

underwent radical changes: the clitics (short pronouns indicating oblique case and agreement categories) either dropped or lost gender and number distinctions. Clitics became homophonous because the same ones rendered both direct and indirect dependency between the verb and its definite object, or the same accusative relation was marked by several 3rd person clitics (the dative masculine *mu*, the accusative feminine *a*, dative feminine *i*, plural *gi*). Free variation of adverbal proclitics referring to a definite referent with the same verb was common (***a*** *vidoa na Afendot* / ***i*** *vidoa na Stopanot* '(they) CL[1] saw DOM the Lord'; ***gu*** *pitaa na negu* / ***mu*** *pitaa na negu* '(they) CL asked DOM him'); variation existed between dative and accusative clitics in direct dependency even in the same sentence (***go*** *fatia aramiite i* ***mu*** *sublikoa na negu* 'the robbers CL caught and CL stripped DOM him'). In addition to the overuse of clitics (*Isus… na Nazaret* ***gi a*** *najdemi* 'Jesus, in Nazareth (we) CL CL found), we find clitics (the feminine singular accusative *a*) marking an intransitive relation (*on* ***a*** *flegal idno kaik* 'he CL came onto a small boat'), or a clitic marking an indefinite object (***a*** *vide idno čovek* 'he CL saw a man').

All these changes resulted in the lack of discrimination between the agent and the patient roles. In the process, two communication-driven tendencies were violated: the tendency for explicit identification of referents via clitics[2] and the principle of transparent marking of grammatical relations [Lindstedt, 2000, 2017].[3] It is argued here that the insertion of *na* before the direct object was originally motivated by the discriminating function, the necessity to make the patient argument distinct from the agent by a more transparent means. Moreover, this was done in a most economic way: presumably by replicating the existing dative pattern which led to decategorization of the dative marker *na*.[4]

Such semantically-conditioned *na*-marking is most evident in the oldest source, the *Kulakia Gospel*, created in the first innovation zone. The important property of the Gospel text is that the marking of human objects is regular: almost all direct objects with definite human referents are preceded by *na* (277 marked vs 10 unmarked objects). Moreover, in several cases the marking spread onto material entities, illustrated in (4) and (5).

[1] CL – stands for clitic.

[2] Indicating agreement, they served as "markers of referential categories" [Topolińska 1995].

[3] Lindstedt points out the following: "What unites most grammatical Balkanisms structurally is a tendency towards explicit marking of grammatical relations with particles, prepositions and other uninflected function words that are identifiable across languages" [Lindstedt, 2000, p. 234]. In Lindstedt (2017), the author argues that with analytic argument marking (with prepositions and clitic doubling) "an even higher grade of intertranslatability among languages could be attained than with case endings."

[4] It may be classified as construction-oriented pattern-replication [Matras, Sakel, 2007, p. 843].

(4) *Utidi* *da* *kupa* ***na*** *zemnjata*.
go.PST.3SG SUBJ buy.PRS.3SG DOM land.F:DEF
'(he) went to buy some land.'

(5) *I* *oni* *utidia* *i* *zaklučile* ***na*** *grobut*.
and they go.PST.3PL and lock.PRF.3PL DOM tomb.M:DEF
'And they went and closed the tomb.'

However, to the north of Kulakia village, DOM is defined by information structural properties of semantically prominent objects. In the second source from this period, Verkoviќ's folk tales [Penušliski 1985], the distribution of DOM is irregular. Only one third of all direct objects referring to definite human referents carry the marker *na*: 83 marked vs 33 unmarked. Similarly to the Gospel text, there are several marked non-human definite objects: animals (29 instances), material and abstract entities (30 instances). The discourse analysis of these texts shows that the marked objects are prominent in contrast to the unmarked nontopical objects. For instance, the marked objects in (6) and (7) serve as secondary topics in the narrative. The *na*-marking signals a pragmatic relation of prominence: the second participant (*the ox*, *her pleas*) is viewed important for the development of the story. They refer to previously introduced participants placed in the center as instrumental in the unfolding of the plot.

(6) *Ajde* *da* *se* *pitame* ***na*** *toj* *vol*!
HORT[1] SUB REFL ask.PRS.1PL DOM this ox
'Let's ask this ox!'

(7) *I* *bog* *posluša* ***na*** *nejnite* *molbi*.
and Lord listen.PST.3SG DOM her.F:DEF pleas
'And the Lord listened to her prayers'.

The difference in the distribution of DOM in the two oldest sources suggests that in the epicenter of the first innovation zone of Balkanisms, DOM arose due to semantic reasons: the case marker *na* differentiates the patient from the agent. According to Siewierska and Bakker (2008), case exponents perform a discriminatory and/or an indexing function. Although closely intertwined, the former implies definiteness and animacy, while the latter relates casemarking to the degree of affectedness of the second participant by the activity of the agent. Animacy, in turn, indirectly correlates with affectedness: animate entities, being more prominent in discourse, are perceived to be more affected in comparison to inanimates [Næss, 2004;

[1] *Ajde* is a common Balkan hortative particle.

Malchukov, 2008]. Under the second, indexing role of case markers animacy effects are "epiphenomenal, generated through correlations between animacy features and role-related characteristics of arguments" [Malchukov, 2008, p. 211].

The regularity of *na*-marking in the *Kulakia Gospel* testifies to the prevalence of the discriminating function in the epicenter of the "innovation zone" of Balkanisms at that period (more than 150 years ago). However, DOM is applied optionally in Verkovík's tales. It seems that the discriminating function must have initially caused the use of DOM but weakened during the diffusion of this feature resulting in the subsequent foregrounding of the indexing function.

5. DOM in Ohrid and Struga dialects today

5.1. The study

The main hypothesis in this investigation is that the contemporary use of DOM in the south western dialects of Ohrid and Struga is pragmatically motivated, but semantically conditioned. To prove this, we conducted an acceptability judgement test involving speakers from these towns. The sample consisted of 150 young participants: 66 subjects (44%) were from Ohrid and 84 (56%) from Struga. All of them were students: the majority, 114 (76%) attended elementary schools and 36 (24%) secondary schools.[1]

The instrument used in the investigation was a questionnaire with 20 sentences containing a *na*-marked direct object. Though topicality is a discourse-dependent property of referents, rather than clause-level one [Givón, 2001, p. 254], the questionnaire sentences were constructed in such a manner that their propositional content fitted the addressee's state of knowledge. Familiar everyday situations with discourse-linked and contextually salient topical participants (rendered with suitable vocabulary) facilitated information exchange and allowed assessment of pragmatic prominence of the object referent. It was assumed that these sentences could be uttered in isolation in different situations as short speech acts (two were connected in a pair). Three types of sentences with different information structure were designed (all 20 sentences are given in Table 1). The first group of sentences may be labeled "hot news": the speaker informs the addresses about an important event in which the identity of a highly individuated object referent is easily established (sentences 2, 5, 12, 13, 14, 18, 19, 20); many have a prosodic clue (exclamation mark) to convey the emotional attitude towards the object

[1] Only 23 (15.33%) subjects had contacts with Aromanian. However, this parameter was not considered because a direct link with the equivalent Aromanian Ohrid pattern cannot be proved.

referent. The second group includes assertions stating a relation between the speaker and a familiar participant, but whether this participant is construed prominent was left to decide on the addressee (sentences 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11). In the third group of sentences the object referent is under contrastive stress (sentences 4, 9, 15, 16, 17). It should be noted that pragmatic prominence can also be assigned to emphasized object referents "selected from a set of alternative candidates" [Dalrymple, Nikolaeva, 2011, p. 125].

All 150 participants were asked to evaluate the acceptability of each sentence using a 5-point scale ranging from 1 (certainly unacceptable) to 5 (certainly acceptable). The order of the sentences was random. The answers were fed into a database, which served for further quantification of the results. Below we present and discuss the results of the analysis.

Although our database enables an analysis using a number of different statistical tools, we used the two measures of central tendency and variability (mean and standard deviation), as sufficient to prove the main hypothesis. Table 1 shows the results for mean and standard deviation values for each of the 20 sentences. The sentences are ordered according to the mean value of acceptability of the *na*-object in a given sentence, sorted out from the highest to the lowest. As it can be seen from Table 1, the mean of the sample is 2.88, which is close to the mean of normal distribution (3.00). The range of the means (min = 1.89, max = 3.60) confirms slight tendency towards unacceptability of *na*-objects. The high standard deviation of the sample (SD 1.44) indicates high variability in individual responses, which is also confirmed by the range of the SD values (min = 1.18, max = 1.6).

Table 1

Acceptability scale:
mean and standard deviation for each sentence

	Sentences	Mean	SD
1	*Go vidov na Martin*. '(I) saw DOM Martin.'	3.60	1.53
2	*Znaeš*, *Verče go saka na Vlatko*! '(you) know, Verče loves DOM Vlatko!'	3.50	1.45
3	*Ja prašav na nastavničkata*. '(I) asked DOM the teacher.'	3.45	1.39
4	*Na Ivan go prašavme*, *ama ne znaeše*. 'DOM Ivan (we) asked, but he did not know.	3.39	1.35
5	*Na kučeto go udri kola*! 'A car hit DOM the dog!'	3.29	1.47

End of table 1

	Sentences	Mean	SD
6	*Gi prašav na Maja i Petre*. '(I) asked DOM Maya and Petre.'	3.15	1.50
7	*Gi vidov na decata*, *igraa vo dvorot*. '(I) saw DOM the children, they were playing in the yard.'	3.13	1.55
8	*Go udri na kučeto*. '(he) hit DOM the dog.'	3.10	1.49
9	*Go udri na kučeto*, *ne na mačeto*. '(he) hit DOM the dog, not the cat.'	3.09	1.52
10	*Go vidov na Petre koga ja pominuvaše ulicata*. '(I) saw DOM Petre crossing the street.'	3.06	1.55
11	*Ama pak Vlatko ne ja saka na nea*. 'But Vlatko does not love DOM her.'	2.98	1.54
12	*Nastavničke*, *Igor go udri na Goran so tupanica*! 'Teacher, Igor hit DOM Goran with a fist!	2.93	1.60
13	*Zošto go butna na Sime*? 'Why did (you) push DOM Sime?'	2.85	1.45
14	*Ja butna na Sandra i ǵi skrši na naočarite*. '(he) pushed DOM Sandra and broke her glasses.'	2.76	1.41
15	*Go vidov na nego*, *beše sam*. '(I) saw DOM him, he was alone.'	2.49	1.43
16	*Na niv gi prašav*, *ne na tebe*. 'DOM them (I) asked, not DOM you.'	2.37	1.35
17	*Me butna na mene koga trčaše*. '(he) pushed DOM me while running.'	2.37	1.29
18	*Ne go faḱaj na telefonot*, *ḱe mi go skršiš*! 'Don't touch DOM the phone, you'll break it!'	2.15	1.47
19	*Me butna i ja skinav na tetratkata*! '(he) pushed me and I DOM tore my notebook!'	2.00	1.18
20	*Vidi*, *Maja mi gi skrši na naočarite*! 'Look, Maya broke DOM my glasses!'	1.81	1.24
Total		**2.88**	1.44

5. Factors influencing the use of DOM

The analysis confirmed that the distribution of *na*-marking is governed by the interplay of inherent and non-inherent properties.[1] The semantic factors limit the range of object referents to definite individuals, while pragmatics is responsible for their topicality. It is evident that the pragmatic criterion of discourse prominence prevails over the inherent property of humanness allowing marking on animals and things. However, affectedness does not seem to play a significant role in assigning an important discourse status to the second argument in these dialects: it is often used with state verbs *see* and *love*.

5.1. Semantic factors: animacy and number

The importance of definiteness and animacy criteria as determining factors was confirmed in the analysis. The respondents followed the animacy hierarchy in the use of DOM: person, animal, thing. The sentences below are ordered according to the obtained acceptability values. Most acceptable is the sentence in (8), whose object *Martin* represents an activated participant known to both interlocutors. The sentence in (9) with the animal object (*the dog*) is ranked eighth, while the least accepted is the sentence in (10), with a material object (*the glasses*).

(8) *Go vidov na Martin*. (3.60)
'(I) saw DOM Martin.'

(9) *Go udri na kučeto*. (3.10)
'(he) hit DOM the dog.'

(10) *Vidi*, *Maja mi gi skrši na naočarite*! (1.81)
'Look, Maya broke DOM my glasses!'

The adherence to the animacy scale is evident in the distribution of the five most acceptable sentences: the objects in the first four sentences have individuated referents: *Martin* (11), *Vlatko* (12), *Ivan* (13), *the teacher* (14), and in the fifth one it is a familiar dog (13).

(11) *Znaeš*, *Verče go saka na Vlatko*! (3.50)
'(you) know, Verče loves DOM Vlatko.'

(12) *Ja prašav na nastavničkata*. (3.45)
'(I) asked DOM the teacher.'

[1] Aissen (2002) refers to DOM triggered by definiteness and animacy as two dimensional. Given the role of pragmatic factors DOM in Ohrid-Struga dialects may be considered multidimensional.

(13) *Na Ivan go prašavme*, *ama ne znaeše*. (3.39)
'DOM Ivan (we) asked, but he did not know.'

(14) *Na kučeto go udri kola*! (3.29)
'A car hit DOM the dog!'

The three sentences with the lowest degree of acceptability (ranked 18th, 19th and 20th) have definite inanimate objects: *the telephone* (15), *the notebook* (16), *the glasses* (17).

(15) *Ne go faќaj na telefonot*, *ќe mi gi skršiš*! (2.15)
'Don't touch DOM the phone, you'll break it!'

(16) *Me butna i ja skinav na tetratkata*! (2.00)
'(he) pushed me and (I) DOM tore my notebook!'

(17) *Vidi*, *Maja mi gi skrši na naočarite*! (1.81)
'Look, Maya broke DOM my glasses!'

However, the fact that inanimate objects were accepted at all undermines the primacy of the animacy criterion and suggests that other factors are at play. The object *the dog* in sentence (14), is a salient participant because an animal, familiar to both interlocutors, was affected in a traffic accident, so the sentence was ranked high (as fifth) on the scale.

Not all objects referring to humans exhibit prominence. Generally, pronominal objects anaphorically referring to discourse-old animate topics were not perceived salient enough by respondents. This explains why the two sentences containing anaphoric pronouns *niv* 'them' and *mene* 'me' occupy the sixteenth and seventeenth position in Table 1 (see examples 18 and 21). The low prominence of pronominal objects becomes evident when comparing the ranking of sentences (18) and (13). Though they share the same predicative relation (*praša* 'ask') and information structure, (13) was ranked much higher – in the fourth position, because the topicalized object is not formalized as a pronoun (18), but as a proper noun (13). Interestingly, contrastive contexts seem to increase object's prominence even in cases of an animal referent; thus (19) was ranked ninth as opposed to the sixteenth position of (18).

(18) *Na niv gi prašav*, *ne na tebe*. (2.37)
'DOM them I asked, not DOM you.'

(19) *Go udri na kučeto*, *ne na mačeto*. (3.39)
'(he) hit DOM the dog, not the cat.'

A similar explanation can be offered regarding the acceptability of sentences in (20) and (21). In (20), ranked fourteenth, the agent pushed *Sandra*,

a topical referent whose salience is confirmed in the subsequent clause (which informs what happened to her), whereas a similar sentence (21) with an anaphoric object drops to the low seventeenth position on the acceptability scale.

(20) *Ja butna na Sandra i ѝ gi skrši na naočarite*. (2.76)
'(he) pushed DOM Sandra and broke her glasses.'

(21) *Me butna na mene koga trčaše*. (2.17)
'(he) pushed DOM me while running.'

The prominent status of the second participant depends on how relevant s/he is perceived for the ensuing flow of events. Individuated singularized referents were considered more relevant by the respondents. Thus the sentence in (22) with the object *nastavničkata* 'the teacher' is ranked third. Compare a similar sentence in (23) with plural object referents (*Maya and Petre*), ranked sixth. This suggests that DOM marking is sensitive to number, another relevant scalar dimension for DOM, also interacting with the animacy hierarchy [Witzlack-Makarevich, Seržant, forthcoming].[1]

(22) *Ja prašav na nastavničkata*. (3.45)
'(I) asked DOM the teacher.'

(23) *Gi prašav na Maja i Petre*. (3.15)
'(I) asked DOM Maya and Petre.'

5.2. Pragmatic factors: discourse prominence

This criterion applies when the object referent is construed pragmatically salient in the sentence and important for the subsequent discourse. The *na*-marking directs attention to the second participant, who is known to both interlocutors irrespective of its referential accessability. In the comparative analysis of differently ranked sentences we tested several parameters that may influence discourse prominence: information structure role, pronominal realization, individuation and empathy. Below each of them is addressed in this order.

To explain the role of the information structure of the sentence in which the object occurs, we apply Lambrecht's classification of focus structures [Lambrecht, 1994, p. 138]. In unmarked information structuring, secondary topics are either in sentence focus or predicate focus. Sentence-focus

[1] Witzlack-Makarevich, Seržant [forthcoming] point out that in Old Russian primarily animacy-driven DOM (Acc vs Gen) started out in singulars in 11 c. and spread further to plurals during the 13–15 c.

structures occur in sentences that report a new, often unexpected event, while predicate-focus structures are found in topic-comment sentences. Although predicate phrases carry new information, within the predicate domain the object is topical. In marked configurations, discourse prominent objects are contrastive topics indicated by higher pitch accent and/or topicalization.

The comparison between the information structure type of the sentences on Table 1 and their acceptability ranking does not show any correlation. For instance, sentence-focus structures (sentences 2, 5, 12, 13, 14, 18, 19, 20) rank both high and low. The same is observed in the second information-structure type, whereas contrastive topics (sentences 4, 9, 15, 16, 17) show a certain correlation with prominence.

What "creates" prominence is speaker's emotional attitude and other factors. This is evident in sentences in (24) and (25), which form an adjacency pair and have a similar propositional content. In (24), ranked very high (second), the object *Vlatko* is a secondary topic in sentence-focus structure. The surprising news about the well known participants is preannounced by 'you know' and conveyed via emphatic intonation. On the other hand, the *na*-marked pronominal object *nea* 'her' in (25), which anaphorically refers to the already introduced participant, is ranked eleventh. Sentence (25) is an example of a predicate-focus structure in which the topical anaphoric object is within the focused verb phrase. It was less accepted than the sentence-focus structure in (24). The low acceptability of (25) may be attributed to the pronominal realization of the object referent and lack of speaker involvement.

(24) *Znaeš*, *Verče go saka na Vlatko*! (3.50)
'(you) know, Verče loves DOM Vlatko!'

(25) *Ama pak Vlatko ne ja saka na nea*. (2.98)
'But Vlatko does not love DOM her.'

Defocused objects have a lower prominence status. Defocusing here signifies the speaker's diffused rather than directed or focused attention towards the participant. In the most accepted sentence (26), the object *Martin* is in the focus of the speaker-perceiver, while *Petre* in (27) is less accepted (ranked tenth) because the speaker's focus is divided between *Petre* and the "background" activity he performs (*crossing the street*). Ranked seventeenth, the sentence in (28) with an anaphoric object (*mene* 'me') was even less accepted because the participant (ego) is defocused by an adverbial temporal clause (*while running*).

(26) *Go vidov na Martin*. (3.60)
'(I) saw DOM Martin.'

(27) *Go vidov na Petre koga ja pominuvaše ulicata*. (3.06)
'(I) saw DOM Petre crossing the street.'

(28) *Me butna na mene koga trčaše*. (2.37)
'(he) pushed DOM me while running.'

Animal referents are also subject to discourse configuration effects. Malchukov notes that the speaker's empathy is related to animacy and discourse prominence [Malchukov, 2008, p. 204]. The different acceptability of sentences in (29) and (30) with the same object referent (*the dog*) may indicate that a topicalized participant is more salient than an ontologically identical object referent in a canonical linearization. Consequently, the marked accented *dog* was accepted more readily (ranked fifth) than its non-empathic counterpart (ranked eighth), although the difference in acceptability between these sentences is rather small (only 0.19).

(29) *Na kučeto go udri kola!* (3.29)
'A car hit DOM the dog!'

(30) *Go udri na kučeto*. (3.10)
'(he) hit DOM the dog.'

As mentioned earlier, inanimate participants in direct object positions received the lowest acceptability rates. Yet, even inanimates display different prominence, which probably depends on the degree of perceived affectedness of the inanimate object and the illocutionary force of the utterance. Thus, the sentence in (31) has somewhat higher acceptance rate than the one in (32) probably because *the notebook* is already affected, (i.e., destroyed) in contrast to *the telephone*. On the other hand, the number of subjects who gave the highest value to the sentence with the telephone is considerably higher (22 subjects)[1] than the sentence with the notebook (7 subjects) because a telephone is a much more valued possession than a notebook.

(31) *Me butna i ja skinav na tetratkata!* (2.00)
'(he) pushed me and (I) DOM tore my notebook!'

(32) *Ne go faḱaj na telefonot*, *ḱe mi go skršiš!* (1.81)
'Don't touch DOM the phone, you'll break it!'

The presented findings of the analysis are supported by the evidence presented in [Tošev, 1970, p. 99] about the use of DOM in Struga almost 50 years ago. He lists 33 examples with DOM collected from the assignments written by Struga schoolchildren. In all the examples the direct objects

[1] These numbers are from the database.

code individuated human referents that presumably were seen as important discourse participants. In (33) the direct object is topicalized and the generic agent is removed from the scene, while in (34), the object referent, introduced in the preceding sentence, undergoes an unexpected turn of events.

(33) *Na* *Đura* *ne* *go* *puštile* *da* *odit.*
DOM Gjura not CL.3MSG.ACC let.PRF.3PL SUB go.PRS.3SG
'Gjura was not allowed to leave.'

(34) *Aleksa* *otišol* *da* *krade*,
Aleksa go.PRF.3SG SUB steal.PRS.3SG
no *togaš* *na* *Aleksa* *go* *fatija*.
but then DOM Aleksa CL.3MSG.ACC catch.PST.3PL
'Aleksa went to steal something, but then Aleksa was caught.'

6. Conclusion

The paper aims to account for the contemporary use of DOM in the Ohrid and Struga dialects on the basis of an empirical study. The results of the study clearly indicate that DOM in this historically attested "innovation zone" is triggered by information structure needs to mark a prominent discourse participant in the object position. This entails that the distribution of DOM in south-western dialect is regulated by pragmatic principles applied to semantically restricted set of referents.

Not excluding the role of contact, the paper suggests an internal origin of this preposition-based pattern. Originally meant to semantically disambiguate the obscured case relations involving a second definite human participant in multilingual communities, the casemarker *na* evolved into a discourse prominence marker, a "referent-coding device" that serves the communicative needs of the dialect speakers. This supports the position expressed by Topolińska (1995) that the pragmatic and semantic motivation for language changes in Balkan languages was based on the communicative need to make messages maximally transparent to speakers of other languages. By the same token, Friedman (2000) argues that the need for successful communication led to the creation of Balkanisms. One of the first scholars to acknowledge the role of pragmatics in shaping Balkan grammars is [Civian, 1979, p. 284]. She points out that pragmatics, not grammar, ensures successful communication "в условиях разноязычия" (i.e., multilingual environment) among the speakers of the Balkan Sprachbund. Her view that: "и в своем формально-грамматическом единстве и в своем разнообразии система БЯС[1] ориентирована на осуществление коммуникации

[1] Балканский языковой союз.

в условиях максимума помех в канале связи (разноязычие, потенциальная необходимость перехода с языка на язык)...” [Civian, 1979, p. 279] predicts that such a non-Slavic phenomenon as a preposition-based DOM in peripheral Slavic dialects can be viewed as a communication strategy.

References

Adamou, 2006 – Adamou E. Le nashta. Description d’un parler slave de Grèce en voie de disparition. München, 2006.

Aissen, 2003 – Aissen J. Differential object marking: Iconicity vs economy. *Natural language and linguistic theory*. 2003. Vol. 21. Pp. 435–483.

Asenova, Aleksova, 2008 – Asenova P., Aleksova V. L’aspect balkanique de la nota accusativi personalis. *Zeitschrift für Balkanologie*. 2008. Vol. 44. № 1. Pp. 1–22.

Bossong, 1984 – Bossong G. Animacy and Markedness in Universal Grammar. *Glossologia*. 1984. Vol. 39. № 2/3. Pp. 7–20.

Bužarovska, forthcoming – Bužarovska E. The contact hypothesis revised: DOM in Macedonian dialects. *Journal of Language Contact.* Forthcoming.

Bužarovska, 2001 – Bužarovska E. Accusative and Dative Clitics in Southern Macedonian and Northern Greek Dialects. *Balkanistica*. 2001. Vol. 14. Pp. 1–17.

Chiriacescu, von Heusinger, 2010 – Chiriacescu S., Heusinger K., von. Discourse Prominence and *Pe*-marking in Romanian. *International Review of Pragmatics*. 2010. Vol. 2. Pp. 298–332.

Civian, 1979 – Цывьян Т.В. Синтаксическая структура балканского языкового союза. М., 1979. [Civian T.V. Sintaksicheskaya struktura balkanskogo yazykovogo soyuza [The Syntactic Structure of the Balkan Sprachbund]. Moscow, 1979.]

Comrie, 1975 – Comrie B. Definite and animate direct objects: A natural class. *Linguistica Silesiana.* 1975. Vol. 3. Pp. 13–21.

Comrie, 1989 – Comrie B. Language Universals and Linguistic Typology. Chicago, 1989.

Croft, 2003 – Croft W. Typology and universals. 2nd ed. Cambridge, 2003.

Сухun, 1981 – Цыхун Г.А. Типологические проблемы балканославянского языкового ареала. Мн., 1981. [Tipologicheskie problemy balkanaslavyanskogo yazykovogo areala [Typological Problems of the Balkan Sprachbund]. Minsk, 1981.]

Dalrymple, Nikolaeva, 2011– Dalrymple M., Nikolaeva I. Objects and information structure. Cambridge, 2011.

Dixon, 1979 – Dixon R.M.W. Ergativity. *Language*. 1979. Vol. 55. Pp. 59–138.

Friedman, 2000 – Friedman V.A. Pragmatics and Contact in Macedonia: Convergence and Differentiation in the Balkan Sprachbund. *Južnoslovenski filolog*. 2000. Vol. 56. № 3/4. Pp. 1343–1351.

Givón, 2001– Givón T. Syntax: An Introduction. Vol. 2. Rev. ed. Amsterdam, 2001.

von Heusinger, Kaiser, 2003 – von Heusinger K., Kaiser G.A. The Interaction of Animacy, Definiteness and Specificity in Spanish. *Proceedings of the Workshop “Semantic and Syntactic Aspects of Specificity in Romance Languages”*. von Heusinger K., Kaiser G.A. (eds.). Konstanz, 2003. Pp. 41–65.

de Hoop, Malchukov, 2008 – de Hoop H., Malchukov A.L. Case-Marking Strategies. *Linguistic Inquiry*. 2008. Vol. 39. № 4. Pp. 565–587.

Karanfilovski, 1992 – Каранфиловски М. Еницевардарскиот говор. Скопје, 1992. [Karanfilovski M. Enidževardarskiot govor [The Dialect of Enidže-Vardar]. Skopje, 1992.]

Koneski, 1986 – Конески Б. Македонскиот XIX век, јазични и книжевно-историски паралели. Скопје, 1986. [Koneski B. Makedonskiot XIX vek, jazični i istoriski paraleli [Macedonian 19th Century, Literary and Historic comparisons]. Skopje, 1986.]

Labroska, 2003 – Лаброска В. Говорот на селото Кула – Серско. Скопје, 2003. [Labroska V. Govorot na seloto Kula – Sersko [The dialect of Kula village in the region of Ser]. Skopje, 2003.]

Lambrecht, 1994 – Lambrecht K. Information Structure and Sentence Form: Topic, Focus, and the Mental Representations of Discourse Referents. Cambridge, 1994.

Leonetti, 2004 – Leonetti M. Specificity and object marking: the case of Spanish. *Catalan Journal of Linguistics*. 2004. № 3. Pp. 75–114.

Lindstedt, forthcoming – Lindstedt J. Diachronic regularities explaining the tendency towards explicit analytic marking in Balkan syntax. *Balkan Syntax and Universal Principles of Grammar*. B. Joseph, I. Krapova (eds.). Berlin/Boston. Forthcoming.

Lindstedt, 2000 – Lindstedt J. Linguistic Balkanization: Contact-induced change by mutual reinforcement. *Studies in Slavic and General Linguistics*. Vol. 28 (Languages in Contact). Gilbers D., Nerbonne J., Schaeken J. (eds.). Amsterdam/ Atlanta, 2000. Pp. 231–246.

Lindstedt, 2014 – Lindstedt J. Balkan Slavic and Balkan Romance: From congruence to convergence. *Congruence in Contact-induced Language Change: Language Families, Typological Resemblance and Perceived Similarity*. Besters-Dilger J., Dermarkar C., Pfänder S., Rabus A. (eds.). Berlin/Boston, 2014. Pp. 168–183.

Lyutikova, Ronko, Zimmerling, 2016 – Лютикова Е.А., Ронько Р.В., Циммерлинг А.В. Дифференцированное маркирование аргументов: семантика, морфология, синтаксис // *Вопросы языкознания*. 2016. № 6. С. 113–127. [Lyutikova E.A., Ronko R.V., Zimmerling A.V. Differential argument marking: Semantics, morphology, syntax. *Voprosy yazykoznaniya*. 2016. № 6. Pp. 113–127.]

Malchukov, 2008 – Malchukov A.L. Animacy and asymmetries in differential case marking. *Lingua*. 2008. Vol. 118. Pp. 203–221.

Markoviќ, 2007 – Марковиќ М. Ароманскиот и македонскиот говор од Охридско-струшкиот регион. Скопје, 2007. [Markoviќ M. Aromanskiot i makedonskiot govor vo Ohridsko-struškiot region [The Aromanian and Macedonian speech in Ohrid-Struga Region], Skopje, 2007.]

Matras, Sakel, 2007 – Matras Y., Sakel J. Investigating the mechanisms of pattern replication in language convergence. *Studies in Language*. 2007. № 31 (4). Pp. 829–865.

Mazón, Vaillant, 1938 – Mazón A., Vaillant A. L'Évangéliaire de Kulakia, Un parle se slave du Bas-Vardar. Paris, 1938.

Mladenov,1993 – Младенов М. Българските говори в Румъния. София, 1993. [Mladenov M. Bălgarskite govori v Rumăniya. [Bulgarian Dialects in Rumania], Sofia, 1993.]

Næss, 2004 – Næss Å. What markedness marks: the markedness problem with direct objects. *Lingua.* 2004. № 114. Pp. 1186–1212.

Nichev, 1997– Ничев А. Четириязичният речник на Даниил. София, 1997. [Nichev A. Chetiriyazichniyat rechnik na Daniil [Daniel's Lexicon Tetraglosson]. Sofia, 1997.]

Niculescu, 1959 – Niculescu Al. Sur l'objet direct prépositionnel dans les langues romanes. *Recueild'ėtudes romanes*. Bucarest, 1959. Pp. 167–185.

Peev, 1979 – Пеев К. Дојранскиот говор // Македонистика. 1979. № 2. С. 3–191. [Peev K. The Dialect of Dojran. *Makedonistika.* 1979. № 2. Pp. 3–191.]

Peev, 1987 – Пеев К. Кукушкиот говор. Скопје, 1987. [Peev K. Kukuškiot govor [The Dialect of Kukuš]. Skopje, 1987.]

Pencheva, 1998 – Пенчева М. Човекът в езика. Езикът в човека. София, 1998. [Pencheva M. Choveka v ezika. Ezikăt v choveka [Man in language. Language in Man]. Sofia, 1998.]

Penušliski, 1985 – Верковиќ С.И. Македонски народни умотворби / Пенушлиски К. (ред.). Т. 4. Скопје, 1985. [Verkovik S.I. Makedonski narodni umotvorbi [Macedonian Folk Tales]. Penušliski K. (ed.). Skopje, 1985.]

Siewierska, Bakker, 2008 – Siewierska A., Bakker D. Case and Alternative Strategies: Word Order and Agreement. *The Oxford Handbook of Case*. Malchukov A., Spencer A. (eds.). Oxford, 2008. Pp. 290– 303.

Silverstein, 1976 – Silverstein M. Hierarchies of features and ergativity. *Grammatical categories in Australian languages*. Dixon R.M.W. (ed.). New Jersey, 1976. Pp. 112–171.

Shklifov, 1973 – Шклифов Б. Костурският говор. Трудове по българска диалектология. Кн. 8. София, 1973. [Shklifov B. Kosturskijat govor [The Dialect of Kostur]. Studies on Bulgarian Dialectology. Vol. 8. Sofia, 1973.]

Sobolev, 2008 – Sobolev A.N. On some Aromanian grammatical patterns in the Balkan Slavonic dialects. *The Romance Balkans*. Sikimić B., Ašić T. (eds.). Belgrade, 2008. Pp. 113–121.

de Swart, 2007 – de Swart P. Cross-linguistic variation in object marking. Doct. diss. Nijmegen, 2007.

Topolinjska, 1995 – Тополињска З. Македонските дијалекти во Егејска Македонија. Кн. 1. Синтакса. Т. 1. Скопје, 1995. [Topolinjska Z. Makedonskite dijalekti vo Egejska Makedonija [Macedonian Dialects in Aegean Macedonia]. B. 1. Syntax. Vol. 1. Skopje, 1995.]

Topolinjska, Bužarovska, 2011 – Topolińska Z., Bužarovska E. The Balkan Dative revisited. *Studies in Polish Linguistics*. 2011. Vol. 6. Pp. 143–155.

Topolińska, 1995 – Topolińska Z. Convergent Evolution, Creolization and Referentiality. *Prague Linguistic Circle Papers*. Hajičová E., Červenka M., Leška O., Sgall P. (eds.). Amsterdam, 1995. Pp. 239–247.

Tošev, 1970 – Тошев К. Некои иновации во градскиот струшки говор // Прилози. 1970. № 1/1. С. 105–113. [Tošev K. Some innovations in the urban speech of Struga. *Contributions.* 1970. № 1/1. Pp. 105–113.]

Vidoeski, 1984 – Видоески Б. Охридско-струшките говори // Прилози. 1984. № 10. [Vidoeski B. The dialects of Ohrid and Struga. *Contributions.* 1984. № 10.]

Vidoeski, 1998 – Видоески Б. Дијалектите на македонскиот јазик. Т. I. Скопје, 1998. [Vidoeski B. Dijalektite na makedonskiot jazik [Macedonian Dialects]. Vol. I. Skopje, 1998.]

Witzlack-Makarevich, Seržant, 2017 – Witzlack-Makarevich A., Seržant I.A. Differential argument marking: Patterns of variation. *The Diachronic Typology of Differential Argument Marking*. (Studies in Diversity Linguistics). Seržant I.A., Witzlack-Makarevich A. (eds.). Berlin, 2017.

Статья поступила в редакцию 5.03.2017

The article was received on 5.03.2017

Бужаровска Элени – доктор филологических наук; профессор кафедры английского языка филологического факультета имени Блаже Конеского, Университет Святых Кирилла и Мефодия в Скопье, Республика Македония

Bužarovska Eleni – PhD in Philology; Professor, Faculty of Philology "Blaže Koneski", Ss Cyril end Methodius University in Skopje, Republic of Macedonia

E-mail: elenibuzarovska@t.mk

Н.М. Заика

Институт лингвистических исследований РАН,
199053 г. Санкт-Петербург, Российская Федерация;

Санкт-Петербургский государственный университет,
199034 г. Санкт-Петербург, Российская Федерация;

Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге,
190121, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Именная акцентуация старосулетинского диалекта баскского языка[1]

В статье описывается именная акцентуация старосулетинского диалекта баскского языка середины XIX в. на материале Евангелия Э. Инчаспе. Кроме ранее выделенных Х.И. Уальде акцентологических классов сильных и слабых (маркированных и немаркированных) морфем, выделяется новый класс морфем – экстраметрические. Выдвигаются гипотезы относительно происхождения сильных и экстраметрических морфем. Делается вывод о том, что каждый из этих классов может происходить из разных источников.

Ключевые слова: баскский язык, фонология, ударение, сильные морфемы, слабые морфемы, экстраметрические морфемы

N.M. Zaika

Institute for Linguistic Studies, Russian Academy of Sciences,
Saint Petersburg, 199053, Russian Federation;

Saint Petersburg State University,
Saint Petersburg, 199034, Russian Federation;

Higher School of Economics – Saint Petersburg,
Saint Petersburg, 190121, Russian Federation

[1] Автор хотел бы поблагодарить А.В. Андронова и Ю.К. Кузьменко за обсуждение материалов исследования и предоставление релевантной литературы, а также Н.В. Кузнецову и двух анонимных рецензентов за многочисленные рекомендации по улучшению статьи. Все недостатки статьи остаются на совести автора.

Accentuation of Nouns in Old Souletin Basque[1]

The accentual properties of the only accentuated text in Old Souletin, that is, the New Testament according to Matthew translated by Intxauspe, are analysed in this work. Two accentual classes of morphemes have been previously described in Souletin by Hualde: marked and unmarked. Following an examination of the accentual properties of the morphemes, a third accentual class of extrametrical morphemes is postulated in this paper. Another point analysed in the paper is the origin of accentual classes in Old Souletin, both marked and extrametrical morphemes being able to have different origins.

Key words: Basque, phonology, stress, marked morphemes, unmarked morphemes, extrametrical morphemes.

1. Введение

Задачей настоящего исследования является последовательное описание именной акцентуации одного из говоров старосулетинского диалекта баскского языка[2]. Несмотря на небольшую территорию распространения (ок. 20 000 км^2) и количество носителей менее 1 млн, в баскском представлено разнообразие типов акцентуации. В некоторых диалектах имеется фиксированное ударение на первом, втором или предпоследнем слоге, для части диалектов характерно свободное ударение [Hualde, 1999]. Как современный сулетинский, так и старосулетинский диалект характеризуется ударением с кульминативной и дистинктивной функцией: каждое фонологическое слово характеризуется ровно одним ударением; имеются минимальные пары, которые отличаются лишь

[1] I would like to thank Aleksey Anronov and Yury Kuzmenko for discussing the paper and useful references, as well as Natalia Kuznetsova and two anonymous reviewers for their valuable suggestions in improving the text. All errors in the paper are my own.

[2] Баскский язык является изолятом, носители которого проживают на территории северо-востока Испании (бóльшая часть) и юго-запада Франции (меньшая часть). Историческая провинция Суль, жители которой говорят на сулетинском (субероанском) диалекте, расположена во Французской Стране басков; она удалена от побережья Бискайского залива и граничит с Нижней Наваррой (другой исторической провинцией Французской Страны басков), Беарном (частью французской исторической провинции Гаскони, жители которой говорят на одном из говоров гасконского диалекта окситанского языка) и Верхней Наваррой (провинцией Испанской Страны басков). С административной точки зрения, Суль является частью французской провинции Атлантические Пиренеи региона Новая Аквитания. В баскский язык вошло большое число заимствований, преимущественно из латыни и романских языков, находящихся с ним в контакте. Для языка характерны базовый порядок слов SOV, наличие послелогов, полиперсональное спряжение, преимущественно аналитическое, богатая падежная система, включающая около 15 падежей.

местом ударения, ср. *guizoún-ec* (человек-ERG.INDF[1]) ‘человек’ *guizoun-éc* (человек-ERG.PL) ‘люди’. Ударение в современном сулетинском диалекте баскского языка, в отличие от старосулетинского, служило предметом подробного описания в ряде исследований [Gaminde, 1995; Hualde, 1997, 1999]. Иногда данные старосулетинского объединялись с данными современного сулетинского [Peillen, 1998][2], что очевидно является неправомерным[3]. В описании сулетинского диалекта конца XIX в. Л. Жеза [Gèze, 1873] особенности акцентуации в некоторой степени отражены в парадигмах, однако они не могут рассматриваться как экономное описание акцентологических правил взаимодействия морфем. Таким образом, задача исследования представляется нам актуальной.

Маргинальное положение старосулетинского диалекта в акцентологических описаниях отчасти объясняется ограниченным количеством баскских акцентуированных памятников. Объектом нашего анализа является Евангелие от Матфея в переводе аббата Эмманюэля Инчауспе [Inchauspé, 1856]. Данный текст является единственным акцентуированным памятником старосулетинского диалекта (ряд других произведений и переводов Инчауспе был опубликован в неакцентуированном виде) [Gaminde, Hualde, 1995, p. 178].

Несмотря на то, что акцентная модель сулетинского в общем является описанной, ряд задач, связанных с действием правил акцентуации, до сих пор требует решения [Hualde, 2006a, p. 170][4]. По-видимому, сложность синхронной системы сулетинской акцентуации отчасти обусловлена тем фактом, что в акцентологическом отношении и старосулетинский диалект не представлял собой однородного явления. Например, акцентологическая система имени, восстанавливаемая по парадигмам, приведенным в сулетинской грамматике Л. Жеза [Gèze, 1873],

[1] Сокращения: ABL – аблатив; ABS – абсолютив; AGN – имя деятеля; ALL – аллатив; ALLLIM – аллатив границы; ANIM – одушевленность; COM – комитатив; COMP – компаратив; DAT – датив; DEST – дестинатив; ERG – эргатив; GEN – генитив; GENL – генитив места; IN – инессив; INDF – неопределенность; INS – инструменталис; IPFV – имперфектив; MOT – мотиватив; PART – партитив; PL – множественное число; RAD – корень; REC – реципрок; SG – единственное число; SUP – суперлатив; TERM – терминатив.

[2] Система старобаскских диалектов в значительной степени отличается от современных баскских, что стало основанием для переработки диалектной карты второй половины XIX в. Л.Л. Бонапарта [Bonaparte, 1863] в работах К. Суасо [Zuazo, 2003, 2008].

[3] Отметим, что современные говоры сулетинского диалекта, в значительной степени унаследовавшие состояние предшествующих эпох, отличаются крайним разнообразием и акцентологически варьируют от деревни к деревне [Hualde, 1999, p. 947].

[4] Автор ссылается на следующие работы: [Larrasquet, 1934, 1939; Lafon, 1935; Michelena, 1958; Gaminde, 1995, 1998].

отличается от системы исследуемого нами памятника[1] и заслуживает отдельного исследования, несмотря на то, что разница между изданиями Жеза и Инчауспе составляет лишь 17 лет.

В настоящей работе мы попытаемся описать акцентологическую систему старосулетинского диалекта памятника Инчауспе в терминах морфологической акцентологии. Морфемам, входящим в состав словоформы, приписываются определенные акцентологические характеристики и определяются правила их взаимодействия, в результате действия которых словоформа получает главное ударение [Дыбо, 2000, с. 11; Garde, 2006, p. 89].

Статья имеет следующую структуру. Во второй части приводится ряд методологических комментариев, связанных с исследованием. В третьей части мы дадим общие сведения о сулетинской акцентологии. В основной части описывается акцентологическая система имени в старосулетинском диалекте Инчауспе (отдельно рассматриваются имена и нефинитные формы глагола, описываются три акцентологических типа морфем, имеющихся в диалекте, и правила их взаимодействия) и выдвигаются гипотезы о генезисе системы. В заключении приводится алгоритм постановки ударений в старосулетинском диалекте Инчауспе и подводятся итоги исследования.

2. Методологические комментарии

В работе использовался метод сплошной выборки. Текст Евангелия был распознан и представлен в виде списка словоформ; повторяющиеся словоформы были удалены, однако квазиомонимы, отличающиеся лишь ударением, были оставлены. При составлении списка ошибки распознавания исправлялись вручную. Затем были созданы два списка: упорядоченный в прямом и обратном алфавитном порядке. Все морфемы проверялись на акцентологические свойства: корневые по прямому алфавитному списку (префиксальные морфемы в системе имени баскского языка единичны), суффиксальные – по обратному.

За пределами нашего рассмотрения остались финитные формы глагола, подавляющее большинство которых являются аналитическими и состоят из вспомогательного и основного глагола (нефинитной части). Как в старобаскском, так и в современном баскском языке глагол изменяется по наклонениям и временам, согласуется с абсолютивным, эргативным и дативным актантом и обладает категорией

[1] Так, абсолютив множественного числа и терминатив единственного числа в тексте Инчауспе и грамматике Жеза имеют разную акцентуацию.

аллокутивности[1]. Таким образом, у вспомогательного глагола в баскском имеется несколько тысяч форм. У других финитных глаголов, имеющих синтетические формы (их насчитывается несколько десятков лексем), количество таких форм гораздо меньше – по несколько десятков на лексему. Поскольку система баскского глагола крайне сложна и набор морфем, входящий в глагольные словоформы, лишь в малой степени пересекается с морфемами, входящими в состав именных словоформ, наречий и других частей речи, глагольная акцентуация старосулетинского требует отдельного описания. В исследовании были проанализированы только нефинитные формы глагола: причастие и номинализация в падежных формах, а также проспективная форма (причастие будущего времени) и основа.

Для исследования именной акцентологии в баскском языке существенным является то, что падежные и числовые показатели оформляют всю именную группу, а не каждый его компонент *ardoú-a* (вино-SG[ABS]) ‘вино’ vs *ardoú berrí-a* (вино новое-SG[ABS]) ‘новое вино’).

Отметим, что в письменном тексте возможны ошибки акцентуации. Однако большой объем такого текста (около 17 000 словоформ) все же позволяет выявить основные статистические закономерности акцентуации исследуемого говора. Единичные иррегулярные формы мы в большинстве случаев считаем переводческими ошибками (хотя они могут объясняться и диалектной вариативностью). Надежность предположений относительно акцентуации морфем зависит и от того, какое количество морфов (вхождений в текст) конкретной морфемы нам встретилось в тексте (в ряде случаев вывод был сделан на материале лишь одного морфа).

Формы Евангелия Инчаспе приводятся в старой орфографии, отличной от орфографии современного баскского литературного языка (euskara batua). Орфография текста в значительной степени основана на фонетическом принципе; в ряде случаев при существенном расхождении с данным принципом приводится восстанавливаемая нами фонологическая транскрипция. В качестве основных отступлений от фонетического принципа отметим, что графема *u* после *g* не произносится, дограф *ou* произносится как /u/, а графема *u* произносится как огубленный гласный переднего ряда верхнего подъема /y/ (данный факт неоднократно зафиксирован в грамматиках сулетинского). При ударении на /u/, обозначаемой диграфом *ou*, графический акцент, за редкими исключениями, ставится на втором компоненте диграфа, ср. *ikhoúsi* ‘видеть’.

[1] Грамматикализованное выражение пола собеседника, т.е. употребление различных глагольных форм в зависимости от пола собеседника, в низком регистре.

В таблице 1 мы приводим соответствия между графемами текста и соответствующими фонемами, основанные на описании [Inchauspé, 1856, p. iii–vi] (в ряде случаев, поскольку описания Инчауспе не отличаются точностью, мы обращались к описаниям [Larrasquet, 1934] и [Hualde, Ortiz de Urbina, 2003]).

Таблица 1

Соответствие графем и фонем в Евангелии Инчауспе

Графема или сочетание графем	**Фонематическая транскрипция**
a	/a/
au	/au/
b	/b/ в начале слов и после /m/, /n/; /β/ в остальных позициях
c	/k/, употребляется перед графемами *a*, *o*, *u* и в конце слов
ch	/ʃ/
d	/d/
e	/e/ в конце слова под ударением, /ɛ/ в остальных позициях
eu	/eu/
f	/f/
g	/g/
gue, *gui*	/ge/, /gi/
h	/h/
i	/i/
j	/ʒ/
k	/k/
kh	/k^h/
l	/l/
ll	/ʎ/

Окончание таблицы 1

Графема или сочетание графем	Фонематическая транскрипция
m	/m/
n	/n/
ñ	/ɲ/
o	/ɔ/
ou	/u/
p	/p/
ph	/pʰ/
r	/ɾ/
rr	/r/
s	/s̪/
s*	/s̻/
t	/t/
tch	/tʃ/
th	/tʰ/
tt	/c/
tz	/ts̻/
u	/y/
x	/ts̪/
y	между гласными /j/, между согласной и гласной /ɟ/
z	/s̻/
z	/z/

* Для обозначения данного звука и звука /z/ (см. в таблице) Инчаспе использует курсив в словах, напечатанных прямым шрифтом, и прямой шрифт в словах, напечатанных курсивом.

3. Традиционные описания сулетинской акцентологии

В традиционных описаниях отмечается, что ударные и безударные слоги в старосулетинском отличаются длительностью, интенсивностью и четкостью [Gèze, 1873; Larrasquet, 1932, p. 181]. Для настоящего описания нерелевантно, каким именно способом ударение выражается фонетически. Важен лишь сам факт противопоставления ударных слогов безударным. С диахронической точки зрения фонологически ударные слоги часто возникали в результате стяжения гласных [Lafon, 1999, p. 697]. Другим источником фонологического ударения были заимствования, что отмечено уже в [Peillen, 1998, p. 463], где приведены примеры и из Инчауспе. Эти два процесса изменили акцентологическую модель сулетинского, в которой, судя по диалектным данным, исконно фиксированное ударение падало на предпоследний слог. Некоторое акцентологическое сходство с сулетинским диалектом наблюдается в северобискайском, распространенном в Испанской Стране басков. В этом диалекте имеются маркированные словоформы (преимущественно заимствования) и немаркированные. Бискайский отличается от сулетинского тем, что в сулетинском немаркированные слова получают дефолтное ударение на предпоследний слог, а в бискайском ни один из слогов немаркированных словоформ просодически не выделяется [Hualde, 2008, p. 205].

Согласно описанию Х.И. Уальде[1], в современном сулетинском морфемы делятся на маркированные и немаркированные (в иной терминологии акцентологически сильные и акцентологически слабые). При отсутствии акцентологически сильных морфем словесное ударение падает на предпоследний слог словоформы, ср. *mithíl-a* (слуга-SG[ABS]) ‘слуга’, *mithil-á-en* (слуга-SG-GEN) ‘слуги́’, при наличии хотя бы одной сильной морфемы – на нее (*mithil-é-z* ‘слуга-**PL**-INS’) [Hualde, 1999, p. 979, 984]. Случаи конфликта нескольких сильных морфем в словоформе в исследовании Х.И. Уальде не анализируются[2]. Сходное описание представлено и в работе [Hualde, 1997].

Деление баскских слов в некоторых диалектах на акцентно маркированные и немаркированные (получающие дефолтное ударение

[1] Мы опускаем некоторые детали описания, касающиеся склонения именных групп на *-a*.

[2] В итальянском языке, например, если в слове имеются две морфемы, на которых может стоять ударение (accentuables), оно падает на последнюю из них [Garde, 2006, p. 91]. В некоторых говорах бискайского диалекта баскского языка место ударения определяет первая акцентологически сильная морфема [Gaminde, 1999, с. 73].

в определенной позиции) было установлено уже в работе У. Джекобсена 1975 г. [цит. по: Hualde, 2006a, p. 154]. Однако описание Джекобсена касается слов, а не морфем. Разделение на «лексически акцентуированные» и «лексически неакцентуированные» слова характерно и для одного из диалектов Испанской Страны басков, находящегося на противоположном конце баскского континуума – бискайского. По мнению Х.И. Уальде, такая акцентуация является наиболее архаичной для диалектов баскского [Hualde, 2008, p. 201]. В баскском языке акцентно маркированные корневые морфемы являются более редкими, чем немаркированные, ср. [Irurtzun, 2006, p. 2075] о говорах бискайского диалекта[1], а также данные сулетинского диалекта в [Hualde, 1999].

Следует также отметить, что акцентологически немаркированные слова в баскскоязычной диалектологии могут пониматься двояко: либо как словоформы, получающие ударение лишь в изолированной или фокусной позиции (ср. [Irurtzun, 2006, с. 2075] для некоторых говоров бискайского диалекта), либо как словоформы, не имеющие акцентологически сильных морфем и получающие дефолтное ударение на предпоследний слог [Hualde, 1999, p. 978]. В нашем исследовании акцентологическая маркированность понимается во втором смысле.

Уже упомянутое нами исследование Ч. Пейена [Peillen, 1998] опирается не на акцентологические свойства морфем, а на их реализацию. Словоформы, а часто и лексемы описываются как окситоны (имеющие ударение на последнем слоге), парокситоны (имеющие ударение на предпоследнем слоге), пропарокситоны (имеющие ударение на третий от конца слог). При этом здесь не учитываются отдельные просодические характеристики морфем. В результате описание не обладает достаточной предсказующей способностью: зная акцентуационные особенности одних словоформ лексемы, не всегда можно предсказать акцентуационные особенности остальных. Акцентуированные именные парадигмы сулетинского диалекта представлены в [Larrasquet, 1934], однако и по ним невозможно предсказать акцентуацию значительного числа форм, не представленных в приведенных парадигмах.

В нашем исследовании мы попытались проверить, действительно ли акцентная система, предложенная Х.И. Уальде, применима к описанию старосулетинского диалекта.

[1] Как отмечает Х.И. Уальде, языки, в которых имеется класс слов, не обладающих собственным акцентом, можно расположить на шкале в зависимости от того, какое количество лексики этим свойством обладают [Hualde, 2006b, p. 164].

4. Акцентологическая система старосулетинского диалекта Инчауспе

4.1. Общие замечания

Для подсчета количества слогов было важно выделить сочетания гласных, являющиеся дифтонгами. Судя по данным баскского языка вообще (ср. [Larrasquet, 1934]) и текста Инчауспе в частности, это /ai/, /au/, /ei/, /eu/, /oi/, /ui/.

Рассмотрение подавляющего большинства словоформ памятника показывает, что немаркированной просодической моделью в старосулетинском является ударение на предпоследнем слоге, как и в современном сулетинском диалекте в описании Х.И. Уальде [Hualde, 1999]. Отталкиваясь от данного предположения, мы делим морфемы на акцентологически сильные и слабые. Односложные словоформы получают ударение на единственный слог, ср. *ján* ‘есть’, *híl* ‘умирать, ‘убивать’.

Для определения акцентологического статуса морфем памятника особый интерес представляли слова, ударение в которых стояло не на предпоследнем слоге. Как правило, это был последний или третий от конца слог, хотя иногда ударение стояло еще дальше от конца слова, преимущественно в композитах[1]. Такие слова потенциально содержали хотя бы одну акцентологически сильную морфему, в состав которой и входил ударный слог. Как будет показано далее, в состав таких словоформ мог входить еще один класс морфем, акцентуационные особенности которых отличаются как от сильных, так и от слабых морфем. Естественным образом, и словоформы с ударением на предпоследнем слоге могли содержать акцентологически сильные морфемы.

Для того чтобы выявить акцентологический статус морфем, входящих в парокситоны, мы проводили сопоставление с другими словоформами, содержащими те же морфемы. Если данные морфемы в других словоформах получали ударение в позиции, отличной от парокситонной, они признавались акцентологически сильными (в статье они выделены жирным шрифтом, за исключением тех случаев, когда приводятся списки сильных морфем). Так, в словоформе ***Jésus*** (Иисус[ABS.INDF]) ‘Иисус’ единственная материально выраженная морфема является акцентологически сильной, поскольку существует форма ***Jésus****-ec* (Иисус-ERG[INDF]) ‘Иисус’.

[1] Текст содержит некоторое количество композитов, которые пишутся через дефис и содержат два корня. Как правило, композиты имеют два ударения, каждое из которых определяется общими для старосулетинского диалекта правилами. Кроме композитов в узком смысле слова, через дефис Инчауспе пишет некоторые аффиксы, имеющие самостоятельное ударение, например, *-eráz-* с каузативным значением или в некоторых случаях *-gan-a* – показатели аллатива (*-a*) одушевленных существительных (*-gan-*).

Когда ударение в морфеме во всех словоформах лексемы и ее производных падало на предпоследний слог и остальные морфемы были акцентологически слабыми, акцентологический статус морфемы не мог быть определен с точностью. В некоторых случаях акцентный статус морфемы все же мог быть предсказан с большой долей вероятности на основании других общих закономерностей акцентуации, например, на основании того, что морфемы, входящие в состав заимствованных топонимов и антропонимов, обычно являются акцентологически сильными.

Изучение акцентологических конфликтов в старосулетинском осложняется также тем фактом, что сильными корневыми морфемами зачастую являются заимствованные имена собственные (как правило, singularia tantum), а среди словоизменительных морфем акцентологически сильными являются преимущественно морфемы множественного числа.

Неопределенный показатель *bat* ‘один’, имеющий артиклевые свойства, является частью фонологического слова, если именная группа стоит в абсолютиве, ср. *emazté bat* (женщина один[ABS]) ‘одна женщина’, где обе морфемы являются слабыми. В косвенных падежах данный показатель является одновременно частью двух фонологических слов[1], ср. группу $[_i$*zahár* $[_j$*bát*$]_i$-*i*$]_j$ (старый один-DAT.SG) ‘одному старику’, состоящую из трех слабых морфем, в которой как первое (*zahar bat*), так и второе (*bati*) просодическое слово получают дефолтное ударение на предпоследний слог[2].

4.2. Акцентологические особенности имен

Поскольку акцентологически сильные морфемы в исследуемом диалекте представляют меньшинство, мы приведем их исчерпывающий список. Прочие морфемы текста являются либо акцентологически слабыми, либо, в редких случаях, их акцентологический статус по данным текста определить невозможно, либо входят в еще один класс морфем, описанный в разделе 4.5. Как уже упоминалось ранее, среди корневых морфем в список акцентологически сильных входят, прежде всего, заимствования. Отметим, что далеко не все заимствования содержат акцентологически сильные морфемы. Например, *guthun* ‘письмо, писание’ (из арабского), *ainguru* ‘ангел’, *famatu* ‘известный’ (из латыни или романских) в исследуемом памятнике являются слабыми. Среди имен

[1] Фонологическое слово в старосулетинском характеризуется конститутивным ударением; акцентологические правила взаимодействия морфем также действуют в рамках фонологического слова. Выделению границ фонологического слова способствуют графические пробелы, хотя в некоторых случаях они не совпадают с границами.

[2] Более подробно о фонологических свойствах показателя *bat* и о возможности трактовки пересечения фонологических (просодических) слов в баскском см. в [Заика, 2017].

с акцентологически сильными корнями выделяется большая группа имен собственных, включающая антропонимы и топонимы.

Антропонимы: *Abél* ‘Авель’, *Abiá*s ‘Авия’, *Abiúd* ‘Авиуд’, *Abrahám* ‘Авраам’[1], *Akhá*z ‘Ахаз’, *Akhím* ‘Ахим’, *Aminadáb* ‘Аминадав’, *Amón* ‘Амон’, *Andréu* ‘Андрей’, *Arám* ‘Арам’, *Archelaú*s ‘Архелай’, *Asá* ‘Аса’, *Azór* ‘Азор’, *Barabbás* (*Barábbas*) ‘Варавва’, *Boó*z ‘Вооз’, *Dabít* [2] ‘Давид’, *Daniél* ‘Даниил’, *Eleazár* ‘Елеазар’, *Eliazím* ‘Елиаким’, *Eliúd* ‘Елиуд’, *Emmanuél* ‘Еммануил’, *Esrón* ‘Есром’, *Ezekhiá*s ‘Езекия’, *Farés* ‘Фарес’, *Heródes* ‘Ирод’, *Herodiá*s ‘Иродиада’, *Isaák* ‘Исаак’, *Jacób* ‘Иаков’, *Jekhoniá*s ‘Иехония’, *Jesé* ‘Иессей’, *Jésu*s / *Jésu-Krísts* ‘Иисус / Иисус Христос’[3], *Joathám* ‘Иоафам’, *Jonás* ‘Иона’, *Jorám* ‘Иорам’, *Josafát* ‘Иосафат’, *Joséf* (*Joséph*) ‘Иосиф’[4], *Josiá*s ‘Иосия’, *Judá* ‘Иуда’, *Manasé* ‘Манассия’, *Mathán* ‘Матфан’, *Mathiú* ‘Матфей’, *Naasón* ‘Наассон’, *Noé* ‘Ной’, *Obéd* ‘Овид’, *Oziá*s ‘Озия’, *Phetíri* ‘Петр’, *Pilátu*s(*e*) ‘Пилат’, *Poúntzio-Pilátu*s(*e*) ‘Понтий Пилат’, *Rachél* ‘Рахиль’, *Roboám* ‘Ровоам’, *Sadók* ‘Садок’, *Salathiél* ‘Салафиил’, *Salmón* ‘Салмон’, *Salomón* ‘Соломон’, *Simoún* ‘Симон’, *Thadé* ‘Фаддей’, *Thomás* ‘Фома’, *Zabulón* ‘Завулон’, *Zará* ‘Зара’, *Zebedé* ‘Зеведей’, *Zesár* ‘Цезарь’, *Zorobabél* ‘Зоровавель’.

Корень имени собственного *Satán* ‘сатана’ также является акцентологически сильным.

Как видно из исключений, приведенных в сносках, практически во всех случаях, когда словесное ударение переносится с сильного корня на предпоследний дефолтный слог, оно по правилам должно было бы стоять на четвертом от конца слоге. Избегание ударения в данной позиции может объясняться контактным влиянием романских языков (гасконского и испанского), для которых ударение в данной позиции является крайне нетипичным.

Топонимы: *Arimathéa* ‘Аримафея’, *Cafarnaúme* ‘Капернаум’, *Caná* ‘Кана’, *Corozaím* ‘Хоразин’, *Jordán* ‘Иордан’, *Judéa* ‘Иудея’[5], *Majedán* ‘Магдала’, *Nazaréth* ‘Назарет’, *Olibéta*/*Olivéta* ‘Елеон’, *Sidón* ‘Сидон’, *Sión* ‘Сион’, *Tír* ‘Тир’, *Zesaré-Filípe* ‘Кесария Филиппова’.

Топонимы также могут иметь вариативную акцентную характеристику корней, ср. ***Jerusaléme****-ra* (Иерусалим-[SG]ALL) ‘в Иерусалим’, ***Jerusaléme****-ric* (Иерусалим-[SG]ABL) vs *Jerusalemé-ric* (то же).

[1] Ср. единичный случай *Abrahame-tá-ric* (Авраам-INDF-ABL) ‘от Авраама’.

[2] Ср. два исключения *Dabite-tá-ra* (Давид-INDF-ALL) ‘к Давиду’, *Dabite-tá-ric* (Давид-INDF-ABL) ‘от Давида’.

[3] Ср. единичный случай *Jesus-éki* (Иисус-[INDF]COM) ‘с Иисусом’ при существующей параллельной форме *Jésus-eki*.

[4] Ср. единичный случай *Josef-éki* (Иосиф-[INDF]-COM) ‘с Иосифом’.

[5] Ср. варианты *Judéa-co* (Иудея-[INDF]GENL) ‘Иудеи’ vs *Judeá-co*.

Далее приведем список заимствованных имен нарицательных: *Alabástro* ‘алавастр’, *albarót* ‘волнение’, *aphéz* ‘священник’, *atchetér* ‘врач’, *báke* ‘мир’, *bankiér* ‘меняла’, *Bázco* ‘Пасха’, *bordálte* ‘хутор’[1], *debádio* ‘борьба’, *débru* ‘дьявол’, *dinér* ‘динарий’, *Espirítu* ‘Дух’, *espoúnja* ‘губка’, *Farisién* ‘фарисей’, *fidél* ‘верный’, *izpirítu* ‘дух’ (обычно злой), *gordén* ‘тайный’, *frútu* ‘плод’, *hástio* ‘ненависть’, *jádanic* ‘уже’[2], *jústo* ‘праведник’, *lória* ‘слава’, *leyál* ‘верный’, *mémbru* ‘член’, *lunatíco* ‘лунатик’, *Máje* ‘волхв’, *pagáno* ‘язычник’, *phácu* ‘плата’, *peniténtzia* ‘покаяние’, *pitchér* ‘сосуд’, *plátu* ‘блюдо’, *prímu* ‘наследник’, *psálme* ‘псалом’, *publicáno* ‘мытарь’, *Sadduzeén*[3] ‘саддукей’, *Sáintu* ‘святой’, *soldádo* ‘воин’, *taléntu* ‘талант (монета)’, *témplo* ‘храм’, *théyu* ‘нечистота’, *tresór* ‘сокровище’, *tribunále* ‘судейское место’, *tróno* ‘трон’, *tcharpól* ‘тимьян’, *umíl* ‘скромный’.

Отдельно приведем заимствованые из латыни и романских языков существительные на *-io*(*n*)-, которые в баскском языке также получают маркированную акцентуацию: *counparazióne* ‘подобие’, *judizióne* ‘суд’, *orazióne* ‘молитва’, *tentazióne* ‘искушение’.

Заимствованная лексема *bekhator* ‘грешник’ встретилась нам лишь дважды, оба раза в форме генитива множественного числа, показатель которого является сильной морфемой, и с разной акцентуацией: *bekhatór-**en*** vs *bekhator-**én***. Фонологический статус корня определить затруднительно, поскольку при наличии в слове двух акцентологически сильных морфем ударение может падать как на первую, так и на вторую из них (см. раздел 4.4).

Часть акцентологически сильных корней принадлежит к исконной лексике. Значительную долю соответствующей лексики представляют слова с ударением на дифтонгах или гласных дифтонгического происхождения. Приведем список данных лексем.

Aráu ‘дело’[4], *ardoú* ‘вино’[5], *apáiri* ‘ужин’, *bourháu* ‘богохульство’, *déus* ‘ничто’, *doháñ* ‘даром’, *escúñ* ‘правая часть’, *eztéy-ac* ‘свадьба (pluralia tantum)’, *gañ* (*gain*) ‘верхняя часть’, *gói* ‘верхняя часть’, *haráinti* ‘другая сторона’ (< *hara gainti* ‘туда сверху’ [ОЕН]), *héipe* ‘крытая галерея’, *Jínco* ‘Бог’, *Jáun-góico* ‘Бог’ (букв. ‘верхний господин’), *maháñ*

[1] Акцентная сила данной позиции также может объясняться происхождением из долгого гласного: *bordalte* < *borda* ‘ферма’ + *alde* ‘место рядом’ [ОЕН].

[2] В [Auwera, 1998, с. 131] отмечается, что данное наречие происходит из романского элемента *ja*, ср. исп. *ya* ‘уже’, и баскского послелога *danik* ‘начиная с’.

[3] Ср., однако, *Sadduzeen-etá-ric* (саддукей-PL-ABL) ‘от саддукеев’.

[4] Однако имеется лексема *arauéra* ‘согласно (чему-л.)’, исторически восходящая к аллативной форме (с соответствующей акцентологически слабой морфемой) от *arau*.

[5] По всей вероятности, из **ardano*, ср. [Trask, 2008, p. 102].

‘стол’, *náusi* ‘хозяин’, *odéy* ‘облако’, *sordéi* ‘худший’, *soúñ* ‘тело’, *uháñ* ‘волна’, *ziháur* ‘ты сам’.

Далее перечислим исконную лексику, не содержащую дифтонгов в ударном слоге акцентологически сильной морфемы.

Áldi ‘раз’, *árte* ‘между’, *ártio* ‘до’, *barné* ‘внутренняя часть’, *behárri* ‘ухо’, *bér* ‘тот же самый’, *bí* ‘два’, *deithór* ‘сожаление’, *eiskér* ‘левая часть’, *ére* ‘тоже’ (в составе *bethiére* ‘всегда’), *haxárre* ‘начало’, *hegátz* ‘крыша’, *hemerétzi* ‘девятнадцать’, *hérsi* ‘узкий’, *hoún* ‘этот’, *hoún* ‘хороший’, *hoúr* ‘вода’, *lárru* ‘кожа’, *ló* ‘сон’, *lur* ‘земля,’ *noúla* ‘как’, *noún* ‘где’, *noúr* ‘кто’, *óro* ‘весь’, *ozén* ‘звонкий’, *tzár* ‘плохой’, *sári* ‘награда’, *zér* ‘что’, *zín* ‘клятва’.

Определение акцентной силы корня по данным памятника невозможно, когда имеется лишь два диагностических контекста, в одном из которых корень ведет себя как акцентологически сильный, а в другом – как акцентологически слабый. Перечислим эти корни: *achól* ‘беспокойство’, *éhi* ‘простой’, *jente-ozté* ‘толпа’, *mútu* ‘немой’, *noúiz* ‘когда’, *zázpi* ‘семь’, *zuháñ* ‘дерево’. Корни со значением *lan* ‘работа’ и *beste* ‘другой’ имеют более одного контекста, в котором выступают и как акцентологически сильные, и как слабые.

Перечислим также те акцентологически слабые морфемы, для которых встречаются единичные исключения, по-видимому, вызванные описками переводчика: *bát* ‘один’, *égun* ‘день’, *érdi* ‘середина’, *éri* ‘больной’, *errégue* ‘царь’, *gúti* ‘мало’, *há-*(*la*) ‘тот’, *hárri* ‘камень’, *hérri* ‘место’, *líbra-tu* ‘спасать’, *mín* ‘боль’, *nigár* ‘плач’, *ouhoúñ* ‘вор’, *presoún* ‘узник’.

Рассмотрим теперь акцентологически сильные деривационные морфемы. На материале лишь одного Евангелия от Матфея представляется проблематичным охарактеризовать акцентуационную силу всех деривационных морфем, которых в баскском языке достаточно много. Значительное количество из них в тексте отсутствует, а для других не находится достаточного количества вхождений для характеристики всех морфов. В дальнейшем представляется целесообразным составить акцентологический словарь исследуемого Евангелия, в котором были бы перечислены все слабые морфемы, однако это не входит в задачи настоящего исследования ввиду того, что их количество значительно превышает количество сильных. Ниже перечислены только те деривационные морфемы, для которых акцентологически сильный характер по тексту Инчаспе устанавливается достоверно:

1) ***-záin-*** (***-záñ-***; ***-tzáin-***) – субстантивный суффикс со значением ‘следящий’, ср. *ar-**tzáin*** ‘пастух’ от *ardi* ‘овца’;

2) ***-tár-***, ***-tiár-***, ***-iár-*** – субстантивный суффикс со значением ‘уроженец, имеющий отношение’, ср. *khorte-**liár*** ‘участник собрания’;

3) ***-cór*** – адъективирующий суффикс, ср. *igaran-**cor*** ‘временный, проходящий’ от *igaran* ‘проходить’;

4) ***-pé-*** – суффикс со значением ‘под’, ср. *manuz-**pé**-co* ‘слуга’ от лат. *manus* ‘рука’;

5) ***-bát-*** – показатель некоторых разрядов местоимений, ср. *zoum-**bát*** ‘сколько’, *hambát* ‘столько’;

6) ***-tán*** – суффикс наречий образа действия, ср. *ho-la-**tán*** ‘таким образом’;

7) ***-(e)ráz-*** – каузативный суффикс, ср. *erre-**eráz**-i-co* (*du*) жечь-CAUS-PFV-PROS (AUX) ‘сожжет’.

Субстантивный суффикс *-tarzun-* ведет себя то как акцентологически сильный (*handi-**tárzun**-a-ren*[1] (большой-TARZUN-SG-GEN) ‘величия’, *ezti-**tárzun**-ez* (кроткий-TARZUN-[INDF]INS) ‘кротостью’), то как акцентологически слабый (*gogor-tarzun-a-gátic* (твердый-TARZUN-SG-MOT) ‘из-за жестокосердия’). Акцентуация может быть разной даже в одном и том же морфемном контексте, ср. *aberax-tarzun-**én*** (богатый-TARZUN-GEN.PL) ‘богатств’, *eri-**tarzún-en*** (большой-TARZUN-GEN.PL) ‘болезней’. В последних примерах разница в акцентуации может объясняться как вариативной акцентологической силой корня, так и различными способами разрешения конфликта акцентологически сильных морфем (см. раздел 4.5). Обратим внимание на то, что ударение в акцентологически сильном суффиксе ***-tarzun-*** может падать как на первый, так и на второй слог.

С акцентологической точки зрения, словоизменительные морфемы в старосулетинском не отличаются от словообразовательных и делятся на те же акцентные классы. Акцентуация производных слов, так же как и акцентуация непроизводных, может быть предсказана из акцентных свойств морфем, входящих в его состав. Рассмотрим акцентологические сильные словоизменительные морфемы памятника.

1. ***-é-*** – показатель множественного числа в падежных формах с нелокативным значением. В частности, он используется в следующих сочетаниях морфем: ***-é-c*** (PL-ERG), ***-é-z*** (PL-INS), – и в сочетаниях морфемах, в которых невозможно провести четкую границу между показателями: ***-ér*** (DAT.PL), ***-én*** (GEN.PL), ***-éngatic*** (MOT.PL), ***-éntaco*** (DEST.PL)[2]. Акцентологическая сила этого показателя объясняется тем фактом, что гласный

[1] Здесь и далее подчеркнутые морфемы обладают особыми акцентологическими свойствам и рассматриваются в разделе 4.5.

[2] Показатели двух последних падежей диахронически восходят к генитивному показателю с послелогом.

в нем является результатом стяжения двух гласных [Hualde, Ortiz de Urbina, 2003, p. 72]). Приведем примеры словоформ: *dizipuli-**é**-c* (ученик-PL-ERG) ‘ученики’, *guizoun-**e**-z* (человек-PL-INS) ‘о людях’, *zordun-**er*** (должник-DAT.PL) ‘должникам’, *dizipuli-**én*** (GEN.PL) ‘учеников’, *lagun-**éngatic*** (друг-MOT.PL) ‘ради друзей’, *begi-**éntaco*** (глаз-DEST.PL) ‘для глаз’.

2. ***-éta-*** – суффикс множественного числа в падежных формах с локативным значением. В частности, он используется в следующих сочетаниях морфем: ***-éta**-co* (PL-GENL), ***-éta**-ra* (PL-ALL), ***-éta**-rano* (PL-ALLLIM), ***-éta**-ric* (PL-ABL), ***-éta**-n* (PL-IN), ср. соответственно, *zeli-**éta**-co* (небо-PL-GENL) ‘небесный, находящийся на небесах’, *dizipuli-**éta**-ra* (PL-ALL) ‘к ученикам’, *zeli-**éta**-rano* (небо-PL-ALLLIM) ‘до небес’, *ogui-**éta**-ric* (хлеб-PL-ABL) ‘от хлебов’, *bilkhur-**éta**-n* (собрание-PL-IN) ‘на собраниях’. Данный суффикс по происхождению является показателем множественности и этимологически не связан с суффиксом множественного числа *-é-*. Его акцентная сила не объясняется диахроническими причинами и, очевидно, связана с аналогическим выравниванием под влиянием указанного выше алломорфа множественного числа *-e-*.

3. ***-rát-*** и *-(gan)-**át*** – суффиксы терминатива у неодушевленных и одушевленных существительных соответственно, ср. *etche-**rat*** (дом-TERM) ‘домой’ и *ene-gan-**at*** (я-ANIM-TERM) ‘ко мне’.

4. ***-á*** – один из алломорфов аллатива неопределенной формы, ср. *houn-**á*** ‘вот, сюда’.

5. ***-ágo-*** (***-ágou-***) – показатель компаратива, ср. *handi-**ágou**-<u>a</u>* (большой-COMP-SG[ABS]) ‘больший’.

6. ***-én-*** – показатель превосходной степени, ср. *tchipi-**én**-<u>a</u>* (маленький-SUP-SG[ABS]) ‘мельчайший’.

По замечанию Ч. Пейена, ударение на третий от конца слог падает в ряде форм множественного числа, например, в формах с локативным значением: *-éta(r)ik* (PL.ABL), *-étaco* (PL.GENL) и *'-etan* (PL.IN) [Peillen, 1998, p. 464]. В нашем тексте в инессиве множественного числа ударение падает не на третий, а на второй от конца слог, ср. *eski-**éta**-n* (рука-PL-IN) ‘в руках’, *egun-**éta**-n* (день-PL-IN) ‘во дни’. Это подтверждает вывод о том, что морфема *-eta-* множественного числа в локативных падежах является акцентологически сильной. Показатель датива множественного числа *-ér* Пейен называет квазиокситоном, поскольку он происходит из показателя *-eri* и окситоном стал в результате фонетического упрощения [Peillen, 1998, p. 464]. Однако есть основания считать, что его акцентуация связана не с этим фактором, поскольку и в других формах множественного числа показатель *-e-*, независимо от позиции, получает ударение и, следовательно, является акцентологически сильной морфемой.

Акцентуационные особенности именного словоизменения в старосулетинском диалекте Инчаспе несколько отличаются от особенностей,

представленных в других описаниях сулетинского диалекта. Так, акцентуация в дативе множественного числа у существительных, основы которых оканчиваются на гласные *-o*, *-u*, *-i*, в текстах, анализируемых Пейеном, имеют парокситонное ударение, ср. *arrazú-er* ‘проблема-DAT.PL’, *etxekó-er* ‘домашний-DAT.PL’, *soldadú-er* ‘воин-DAT.PL’ [Peillen, 1998]. В отличие от этого, в исследуемом тексте такие существительные регулярно имеют окситонное ударение, ср. *dizipuli-**ér*** ‘ученик-DAT.PL’.

4.3. Акцентологические особенности нефинитных форм глаголов

Далее мы рассмотрим акцентуацию нефинитных форм глагола. Среди них прежде всего выделяются те, которые входят в состав финитных аналитических форм:

– основа, использующаяся для образования косвенных наклонений[1], ср. *ékhar* (принести);
– имперфективная форма, являющаяся по происхождению номинализацией в инессиве, употребляющаяся для образования хабитуальных форм, ср. *ekhár-te-n* (принести-IPFV-IN) и имеющая алломорфы *-te*(*n*)/*-ti-* и *-tze*(*n*)/*-tzi-*.
– перфективная форма, ср. *ekhárr-i* (принести-PFV), имеющая алломорфы *-Ø*, *-i*, *-n*, *-tu* (*-thu*, *-ti*, *-thi*)[2];
– проспективная форма, образующаяся от перфективной, ср. *ekharr-í-co* (принести-PFV-PROS), имеющая алломорфы *-ko* и *-*(*r*)*en*.

От перфективной и имперфективной формы с помощью именных суффиксов могут образовываться и другие нефинитные глагольные формы для обозначения различных вторичных предикаций, ср. *ekhár-te-ra*[3] (принести-IPFV-ALL) ‘для того, чтобы принести’, *éntzu-te-z* (слушать-IPFV-INS) ‘слушая’; *eramá-n-ic* (унести-PFV-PART) ‘унесенный’, *déi-thi-ac* (звать-PFV-ABS.PL) ‘званые’. Однако подавляющее большинство нефинитных глагольных форм текста относятся к четырем входящим в состав аналитического глагола.

Поскольку нефинитные глагольные формы со слабыми корнями легче поддаются формальной классификации (хотя и имеющей свои исключения), чем именная лексика, мы приведем не только сильные, но и слабые корневые морфемы.

[1] Для ряда лексем совпадает с перфективной формой.

[2] Далее под алломорфом *-tu* мы будем также понимать и его фонетические варианты *-thu*, *-ti*, *-thi.*

[3] Об особенностях акцентуации данной формы со слабым корнем см. более подробно в разделе 4.5.

Глаголами со слабыми корнями в старосулетинском диалекте Инчаспе являются[1]:

– подавляющее большинство глаголов с многосложной основой на *-tu* (*adorátu* ‘поклоняться’, *mintzátu* ‘разговаривать’, *aithórtu* ‘признаваться’ и др.);
– практически все глаголы на *-n* (*édan* ‘пить’, *edíren* ‘находить’, *égon* ‘быть’, *éman* ‘дать’, *eráman* ‘везти, нести’, *érran* ‘говорить’, *igáran* ‘длиться’, *ízan* ‘быть’, *joúan* ‘идти’, *úkhen* ‘иметь’);
– глаголы на *-i* с двусложной основой (*ehórtzi* ‘погребать’, *ekhárri* ‘приносить’, *ezári* ‘поместить’[2], *igórri* ‘послать’, *ikhoúsi* ‘видеть’[3], *ichoúri* ‘проливать’);
– один глагол с нулевым перфективным суффиксом (*ého* ‘убивать’);
– два глагола, производных от *-exi* ‘считать, принимать’ (*ihardéxi* ‘ответить’, *sinhéxi* ‘верить’).

Глаголами с акцентологически сильными корнями являются:

– редкие заимствования на *-tu* (*apháñ* (*apháintu*) ‘приготовить’, *ausártu* ‘осмелиться’, *dántzatu* ‘танцевать’, *júntatu* ‘объединяться’, *khaúsitu* ‘встречать’, *pháusatu* ‘опереть’, *sóltatu* ‘разрешать’, *trístetu* ‘опечалиться’[4]);
– небольшое количество исконной лексики на *-tu* (*besárca-tu* ‘обнять’, производное от *beso* ‘рука’, *bihotztérritu* ‘огорчаться’, производное от *bihotz* ‘сердце’, *biláizi* ‘обнажить’, *ezcoúntu* ‘жениться’, *sóguin* смотреть’ (производное от *so eguin* ‘взгляд делать’));
– односложные глаголы, чаще всего с фонемной структурой основы CVC, реже CVCC и VC (*bíldu* ‘собирать’[5], *bóztu* ‘радоваться’, *déithu* ‘звать’, *gáiztu* ‘сердиться’, *gáldu* ‘губить’, *hártu* ‘брать’, *hási* ‘начинать’, *héltu* ‘приходить’, *hérxi* ‘связать’, *híl* ‘умирать, убивать’, *hóztu* ‘охладеть’, *jáixi* ‘спуститься’, *járri* ‘сидеть’, *moúztu* ‘рубить’, *phíztu* ‘воскресить’, *sárthu* ‘входить’[6], *sórthu* ‘рождаться’ *útzi* ‘оставлять’[7]);
– глаголы на *-ki*, восходящее к дативному показателю (*egurúki* ‘ожидать’, *élkhi* ‘выходить’[8], *eráiki* ‘строить’, *hoúnki* ‘касаться’, *idéki* ‘открыть’, *idóki* ‘вытащить’, *jáiki* ‘подняться’, *jarráiki* ‘следовать’);

[1] Здесь и далее формы приводятся с перфективным суффиксом.

[2] Имеется одиночная форма *ézar-te-n* (поместить-IPFV-IN) ‘в помещении’.

[3] Ср. единичный случай *ikhous-ti-á-ri* (видеть-IPFV-SG-DAT) ‘видению’ наряду с параллельной формой *ikhoús-ti-a-ri*.

[4] Ср. исключение *triste-tú-ric* (опечалиться-PVF-PART) ‘опечалившись’.

[5] Ср. единичный случай *bil-tzi-a-réki* (собирать-IPFV-SG-COM) ‘собирая’.

[6] Ср. единичный случай *sar-tzi-a-réki* (входить-IPFV-SG-COM) ‘входя’.

[7] Исключение *sor-thi-**én*** (рождаться-PFV-GEN.PL) ‘рожденных’.

[8] Ср. единичные случаи *elkhi-có* (выходить-PROS) ‘для выхода’, *elkhi-tzi-a-réki* (выходить-IPFV-SG-COM) ‘выходя’.

– глаголы с архаическим префиксом *-ra-*, изначально имевшим каузативное значение, но сохранившим его лишь в части лексем (*erántzun* ‘отвечать’, *eráunxi* ‘нападать’, *eráuzi* ‘разделить’, *irátzi* ‘отказываться’);
– большинство производных от *-exi* ‘считать, принимать’ (*ardiéxi* ‘получить’, *goréxi* ‘прославлять’, *gutiéxi* ‘преуменьшать ценность’, *gaitzéxi* ‘презирать’, *miréxi* ‘удивляться’);
– ряд отдельных глаголов, не входящих в вышеупомянутые типы (*egárritu* ‘испытывать жажду’, *éntzun* ‘слышать’[1], *eréñ* ‘сеять’[2], *háuxe* ‘нарушить’, *iharráusi* ‘трясти’, *iréxi* ‘глотать’, *lóthu* ‘связывать’, *luherrástu* ‘пасть на землю’ (< *lur* ‘земля’ + *arrastu* ‘заночевать’) [ОЕН], *oldártu* ‘нападать’).

Отметим, что, по данным исследования современного сулетинского диалекта, в формах глаголов с многосложной основой ударение является подвижным, а глаголы с односложной основой характеризуются постоянным ударением на корне [Gaminde, 1995, p. 122–127]. Это хорошо согласуется с вышеописанными данными старосулетинского диалекта. Впрочем, как видно из нашего материала, это является скорее тенденцией, чем правилом.

Если для какой-либо лексемы в тексте встречались лишь словоформы с неконечным ударением, образованные от имперфективной формы (производные от *jálkhi* ‘выходить’, *háutsi* ‘нарушить’), мы не могли сделать заключения об акцентологической силе корня, поскольку имперфективный показатель имеет особые акцентные характеристики, см. раздел 4.5.

4.4. Конфликт акцентологически сильных морфем

Рассмотрим теперь случаи, когда в одной словоформе имеется более чем одна сильная морфема. Прежде всего отметим определенную вариативность ударения в таких случаях: иногда ударение может падать как на первую, так и на вторую морфему, ср. ***háurr-en*** vs ***haurr-én*** (ребенок-GEN.PL) ‘детей’. В современных говорах сулетинского диалекта подобная вариативность является междиалектной [Gaminde, 1995, p. 119], но в исследуемом тексте она существует в рамках одного говора, хотя, вероятно, могла возникнуть и под влиянием соседних говоров.

Судя по данным исследуемого текста, одни акцентологически сильные морфемы оказываются сильнее других. Например, корни топонимов

[1] Имеется, однако, исключение *entzu-te-co* (слышать-IPFV-GENL) ‘чтобы услышать’.

[2] Тот факт, что данный глагол, по происхождению на *-n* (< *eréin*), попал, в отличие от других глаголов на *-n*, в группу с акцентологически сильными корнями, может объясняться тем, что последний гласный корня имеет дифтонгическое происхождение.

обычно являются акцентологически сильными морфемами (см. раздел 4.2). Однако во всех словоформах, содержащих сильные деривационные суффиксы ***-tar-*** со значением ‘житель какого-л. места’ и ***-tiar-*** (***-liar-***, ***-iar-***) ‘человек, имеющий отношение к чему-л.’, ударение падает именно на них, а не на корневую морфему. Приведем примеры на ***-tar-***: ***Sodoma-tárr-en*** (Содом-житель-GEN.PL) ‘жителей Содома’ (ср. ***Sodóm-eta-n*** (Содом-PL-IN) ‘в Содоме’). Аналогично проявляет себя второй суффикс: существительное ***Jinco*** ‘Бог’ последовательно, в нескольких десятках словоформ, проявляет себя как имеющее акцентологически сильный корень. Единственным словом, в котором ударение падает на последующую морфему, является ***Jinco-tiár*** (бог-TIAR) ‘служитель Бога’. Такие же особенности суффиксы проявляют и в сочетаниях с акцентологически сильным корнем заимствований, ср. ***bake*** ‘мир’ и ***bake-tiár*** (мир-TIAR) ‘миротворец’, ***eztéy-ac*** (свадьба-ABS.PL) ‘свадьба’ и ***eztei-liárr-en*** (свадьба-LIAR-GEN.PL) ‘званных на свадьбу’). Предположить конфликт акцентологически сильных морфем мы можем и в следующих трех словоформах: *Canaan-**tár*** (Ханаан-житель) ‘хананеянка’, *Gomorha-**tárr-en*** (Гоморра-житель-GEN.PL) ‘жителей Гоморры’, *Gerasen-**tárr-en*** (Гергеса-житель-GEN.PL) ‘жителей Гергеса’, поскольку в норме топонимы заимствуются как сильные морфемы.

Суффикс множественного числа ***-e-***, по данным текста, является более сильным, чем суффикс компаратива *-ago-*/*-agou-* (/agu/). Последний в иных контекстах ведет себя как акцентологически сильный, ср. *handi-**ágo-ric*** (большой-COMP-PART) ‘большего’, *handi-**ágou-a*** (большой-COMP-SG[ABS]) ‘бóльший’, *gaistou-**ágou-ac*** (плохой-COMP-ABS.PL) ‘худшие’, *guehi-**ágo-cou-a*** (больше-COMP-GENL-SG[ABS]) ‘бóльший’. Однако в сочетании с ***-e-*** он ведет себя как слабый: vs *handi-**agou-éc*** (большой-COMP-ERG.PL) ‘бóльшие’, *aphal-**agou-ér*** (скромный-COMP-DAT.PL) ‘более скромным’, *lehen-**ago-cou-ér*** (ранний-COMP-GENL-DAT.PL) ‘древним’.

То же свойство характерно для морфемы, входящей в состав неопределенных местоимений ***-bait-***. Даже если корень является акцентологически сильным, ср. ***noúr*** ‘кто’ в ***noúr-en-a*** (кто-GEN-SG[ABS]) ‘чей’, ***noúr-gan-ic*** (кто-ANIM-ABL) ‘от кого’, при появлении морфемы *-bait-* ударение перетягивается на нее: ***nour-báit*** (кто-BAIT) ‘кто-то’, ***nour-báit-ec*** (кто-BAIT-ERG) ‘кто-то’[1].

Этим же свойством обладают терминативные суффиксы ***-rat*** и (*-gan*)-***at***, соответственно у неодушевленных и одушевленных существительных. Ср. ***Galiléa-co*** (Галилея-GENL) ‘галилейский’, ***Galiléa-coe-a-reki***

[1] Ср. исключение ***nouz-pait-cou-ér*** (когда-BAIT-GENL-DAT.PL) ‘древним’, вызванное появлением еще одной сильной дативной морфемы.

(Галилея-GENL-SG-COM) ‘с (человеком) из Галилеи’, ***Galiléa-ra*** (Галилея-ALL)[1] ‘в Галилею’, ***Galiléa-tic*** (Галилея-ABL) ‘из Галилеи’, но ***Galilea-rát*** (Галилея-TERM) ‘в Галилею’; ***Egípta-tic*** (Египет-ABL) ‘из Египта’, но ***Egipta-rát*** (Египет-TERM) ‘в Египет’; ***Heródes-ec*** (Ирод-ERG) ‘Ирод’, ***Heródes-en*** (Ирод-GEN) ‘Ирода’, ***Heródes-i*** (Ирод-DAT) ‘Ироду’, но ***Herodes-en-gan-át*** (**Ирод**-GEN-ANIM-TERM) ‘к Ироду’, у которых, судя по данным косвенных падежей, где ударение падает не на предпоследний слог, корень является акцентологически сильным. У двух словоформ, для которых можно также предполагать сильный корень, поскольку они являются заимствованными топонимами, ударение также перетягивается на сильный терминативный показатель: *Bethania-**rát*** (Вифания-TERM), *Bethleeme-**rát*** (Вифлеем-TERM). Для топонима *Babilone* ‘Вавилон’ в терминативе встречаются две акцентуации: *Babilone-**rát*** и *Babilóne-**rat***.

Рассмотренные выше примеры позволяют предположить, что ударение в исследуемом диалекте получает последняя акцентологически сильная морфема. Это является тенденцией, но не абсолютным правилом.

При сочетании двух акцентологически сильных словоизменительных морфем: суффикса ***-eta-***, появляющегося в падежах с локативным значением, и терминативного ***-rat***, – возможны варианты акцентуации. Чаще ударение здесь стоит на первой акцентологически сильной морфеме, ср. *mendi-**éta-rat*** (гора-PL-TERM), однако *dizipuli-**eta-rát*** (ученик-PL-TERM).

Акцентологически сильный показатель множественного числа ***-e-***, как правило, получает ударение при акцентологически сильном корне, ср. ***Farisién*** (фарисей[ABS.INDF]) ‘фарисей’, ***Farisién-en-a*** (фарисей-GEN-SG[ABS]) ‘фарисейский’ vs ***Farisien-éc*** (фарисей-ERG.PL) ‘фарисеи’, ***Farisien-ér*** (фарисей-DAT.PL) ‘фарисеям’; ***jústou-ac*** (праведник-ABS.PL) ‘праведники’, ***jústou-a-ren*** (праведник-SG-GEN) ‘праведника’ vs ***justou-éc*** (праведник-ERG.PL) ‘праведники’, ***justou-én*** (праведников-GEN.PL) ‘праведников’[2]. Однако в более редких случаях обратная ситуация также возможна, ср. ***haurr-éc*** (ребенок-ERG.PL), ***haurr-én*** (ребенок-GEN.PL), ***haurr-ér*** (ребенок-DAT.PL), ***haurr-éz*** (ребенок-INS.PL) vs ***háurr-en*** (ребенок-GEN.PL), ***háurr-er*** (ребенок-DAT.PL)[3].

Акцентологически сильным является суффикс превосходной степени ***-én-***, ср. *guehi-**én*** (много-SUP) ‘большинство/главный’, *tchipi-**én*** (маленький-SUP) ‘самый маленький’, *handi-**én*** (большой-SUP) ‘самый большой’. Он также сильнее сильного показателя множественного числа ***-eta-***,

[1] В сулетинском диалекте имеются три падежа со значением движения к объекту: аллатив, терминатив и аллатив границы. Первый из них обозначает движение с намерением остаться, второй – без намерения [Inchauspe, 1856., p. xix], третий – движение до объекта.

[2] Встречается также форма *jústou-en*.

[3] Ср. также ***háurr-eta-ric*** (ребенок-PL-ABL) ‘от детей’.

но слабее сильного показателя множественного числа ***-e-***, ср. *guehi-**én-eta**-n* (много-SUP-PL-IN) ‘в большинстве случаев’, *guehi-**én-eta**-ra* (много-SUP-PL-ALL) ‘к главным’, *guehi-**én-eta**-ric* (много-SUP-PL-ABL) ‘из главных’, *tchipi-**én-eta**-ric* (маленький-SUP-PL-ABL) ‘из малейших’ vs *guehi-**en-éc*** (много-SUP-ERG.PL) ‘главные’, *guehi-**en-ér*** (много-SUP-ERG.PL) ‘главным’.

Резюмируя вышесказанное, способы разрешения конфликта сильных морфем в диалекте текста можно описать следующим образом. Ударение получает последняя акцентологически сильная морфема, однако имеется несколько исключений, когда ударение приходится на предпоследнюю из таких морфем[1].

4.5. Экстраметрические морфемы

При исследовании акцентуации текста выяснилось, что ряд словоформ, не имеющих ударения на предпоследний слог и, следовательно, предположительно содержащих акцентологически сильные морфемы, в действительности их не содержали. На основании регулярных закономерностей нами был выявлен еще один акцентологический класс морфем (мы будем выделять их подчеркиванием), ранее не описанный для сулетинского диалекта и пограничных с ним говоров.

Особенность данных морфем состоит в том, что, не имея собственного ударения, они фиксируют ударение на предшествующем им слоге. Это происходит, если за такой морфемой идет односложная слабая морфема. В данном случае ударение в словоформах падает не на предпоследний, а на третий от конца слог (*baztérr-**a**-ren* (угол-SG-GEN) ‘угла’, *guizoún-**a**-ri* (человек-SG-DAT) ‘человеку’). Однако если за такой морфемой следует более чем односложная слабая морфема, ударение в словоформе падает на предпоследний слог, ср. *izen-**a**-gátic* (имя-SG-MOT) ‘ради имени’. Это, вероятно, объясняется тенденцией не ставить ударение дальше третьего от конца слога, которая могла возникнуть под влиянием романских языков (о той же тенденции свидетельствует акцентуация топонимов, ср. раздел 4.2). Как видно из вариативных форм *suy-**a**-**lát*** vs *súy-**a**-**lat*** (огонь-SG-TERM) ‘в огонь’, при наличии в словоформе морфемы такого

[1] Один из рецензентов справедливо замечает, что «в классической морфологической акцентологии в таких случаях принято постулировать различия акцентных маркировок, потому что смысл маркировок состоит в том, что все морфемы с одинаковой маркировкой ведут себя одинаково». К сожалению, невосполнимая недостаточность материала, с одной стороны, и вариативность некоторых форм, содержащих сильные морфемы, – с другой, не позволяют четко выделить подклассы сильных морфем, требующие различной акцентной маркировки. Единственным исключением мог бы стать показатель суперлатива ***-én-***, систематически демонстрирующий бóльшую акцентную силу, чем показатель множественного числа ***-éta-***.

класса ударение может падать либо на корень, либо на акцентологически сильный аффикс, но не на рассматриваемую морфему. Назовем морфемы с вышеописанными свойствами экстраметрическими. В работе [Заика, 2017], в краткой характеристике старосулетинской фонологической системы, мы называли их преакцентными, однако затем отказались от этого термина, поскольку рассматриваемый акцентологический класс морфем в баскском языке не является сильным (в отличие, например, от понимания преакцентных морфем П. Гардом [Garde, 2015, с. 128]): в случае появления в словоформе сильной морфемы слева или справа от рассматриваемой ударение получает сильная морфема, а не слог, предшествующий рассматриваемой. Экстраметрическими такие морфемы можно считать, поскольку в некоторых контекстах (в случае, если гласная экстраметрической морфемы входит в состав предпоследнего слога) они ведут себя как акцентологический нуль[1].

Х.И. Уальде объясняет ударение на третьем слоге от конца в дативе и генитиве не акцентологическими особенностями морфемы *-a-*, а тем, что следующие за ней падежные морфемы не входят в «акцентную единицу» [Hualde, 1997, с. 81]. Однако такая трактовка не может объяснить наличия и функционирования других экстраметрических морфем.

Кроме уже упомянутого показателя единственного числа определенного склонения *-a-*, в изучаемом диалекте экстраметрическими являются еще две морфемы. Это, во-первых, имперфективный показатель *-te-*(*-ti-*)[2], ср., например, форму *ekhár-te-ra* (принести-IPFV-ALL) ‘чтобы принести’. В других нефинитных формах, т.е. образованных от перфективного причастия и от собственно корня, акцентуационные особенности соответствуют общим правилам взаимодействия слабых морфем, ср. *ekhárr-i* (принести-PFV) ‘принесенный’, *ekharr-í-co* (принести-PFV-PROS) ‘для принесения’, *ékhar* (принести.RAD) ‘принести’. Отметим, что алломорф имперфективного показателя *-tze-* является акцентологически слабой, а не экстраметрической морфемой, ср. *handi-tzé-ra* (увеличить-IPFV-ALL) ‘чтобы увеличить’.

В предшествующем описании Х.И. Уальде [Hualde, 1997, p. 83] не выделяются факторы, влияющие на ударение в нефинитных формах. Вместо этого разноместное ударение объясняется в терминах

[1] Как отмечает А.В. Андронов (личное сообщение) со ссылкой на [Garde, 2015, с. 105–106], баскские экстраметрические морфемы по свойствам напоминают польские морфемы типа *-ik-*/*-yk-*, которые, оказываясь в предпоследнем слоге, сдвигают ударение на предшествующий.

[2] Имеются единичные исключения из данной тенденции, ср. *sinhex-té-ric* (верить-IPFV-PART) ‘поверив’.

свободного варьирования. Так, например, утверждается, что среди нефинитных форм на *-tera* и *-tzera* бывают парокситоны и пропарокситоны, и зависимость места ударения от класса глагола при этом не прослеживается.

Такими же акцентологическими свойствами обладает и деривационная морфема *-le-/-li-* со значением имени деятеля, ср. формы *errái-li-ac* (говорить-AGN-ABS.PL) ‘говорящие’, *jakí-le-ren* (знать-AGN-GEN[INDF]) ‘свидетеля’[1].

Морфемы с подобными акцентологическими свойствами зафиксированы в другом диалекте баскского языка, бискайском, не находящемся в контакте с сулетинским [Hualde, 1999, p. 952]. Насколько нам известно, морфемы с такими свойствами не были описаны для сулетинского диалекта, хотя Уальде отмечает особое поведение генитива и датива единственного числа[2] [Hualde, 1997, p. 81], где, согласно нашей трактовке, имеется экстраметрическая морфема.

Рассмотрим теперь правила взаимодействия двух экстраметрических морфем. Возможны сочетания либо показателя единственного числа определенного типа склонения *-a-* с имперфективным показателем *-te-/-ti-*, либо с показателем имени деятеля *-le-/-li-*. При наличии в словоформе сильной морфемы ударение естественным образом падает на нее, ср. ***éntzu-ti-a-ri*** (слушать-IPFV-SG-DAT) ‘слушанию’. При отсутствии сильных морфем, если экстраметрические морфемы входят в состав последнего и предпоследнего слогов, ударение падает на третий слог от конца: *eréi-li-a* (сеять-AGN-SG[ABS]) ‘сеятель’, *ikhoús-ti-a-c* (видеть-IPFV-SG-ERG) ‘зрелище’[3]. Если экстраметрические морфемы занимают неконечную позицию, то возможна вариативность акцентуации. Ударение занимает либо позицию, предшествующую левой экстраметрической морфеме, либо дефолтную позицию на втором слоге от конца, например, *ikhous-ti-á-ri* (видеть-IPFV-SG-DAT) ‘видению’ vs *ikhoús-ti-a-ri*, *izá-ti-a-ri* (быть-IPFV-SG-DAT) ‘бытию’ vs *iza-ti-a-gátic* (быть-IPFV-SG-MOT) ‘из-за бытия’, *eréi-li-a-ren* (сеять-AGN-SG-GEN) ‘сеятеля’ vs *errai-li-á-ri* (говорить-AGN-SG-DAT) ‘говорящему’.

[1] В формах с суффиксом множественного числа ***-e-*** и суффиксом деятеля *-le-* ударение падает на суффикс множественного числа, что, вероятно связано со стяжением двух одинаковых гласных *-e-*, ср. *entzu-lé-c* < *entzu-le-**éc*** (слушать-AGN-ERG.PL) ‘слушатели’.

[2] Особое («пропарокситонное») поведение генитива было отмечено и в [Peillen, 1998, p. 464], но в исследуемом нами тексте и датив ведет себя схожим образом.

[3] Исключения возможны при появлении суффикса *-le-*, где ударение может падать на предпоследний слог *egotch-lí-a* (разрушать-AGN-SG[ABS]) ‘разрушитель’ (это может происходить только в тех случаях, когда в корне нет дифтонгизации).

4.6. Реконструкция акцентной парадигмы имени

Проанализировав с акцентологической точки зрения различные типы морфем, резюмируем результаты нашего исследования и представим старосулетинскую именную парадигму.

В баскском языке склонение основ на гласную и на согласную незначительно различается, что обусловлено историческими чередованиями. В склонении имен на гласную при появлении суффикса, начинающегося на гласную, в интервокальной позиции появляется эпентетический *-r-*. В склонении имен на согласную при появлении суффикса, начинающегося на согласную, появляется эпентетический *-e-* (из данного правила имеются некоторые исключения). Однако с точки зрения акцентологии словоизменительные аффиксы ведут себя одинаково, поэтому мы не будем разделять склонения на гласный и на согласный.

У одушевленных именных групп в падежах с локативным значением может появляться показатель одушевленности *-gan-*. В современном бакском языке он является обязательным, а в старобаскском распределение показателей с данным суффиксом и без него описано лишь отчасти [Rijk, 2008, p. 61–62], поэтому этот вопрос выходит за рамки данного исследования. Он является слабым, и акцентологические свойства содержащих его словоформ предсказываются тривиальным образом по общим правилам.

Система локативных падежей отличается тем, что неопределенный тип склонения формально является более маркированным. Он содержит суффикс *-ta-*, тогда как единственное число определенного склонения маркируется нулем либо стандартным показателем *-a-*. В остальных же падежах формально немаркированным является неопределенное склонение. Топонимы и антропонимы (за исключением локативных падежей) склоняются по неопределенному типу.

Для того чтобы наглядно показать акцентную силу падежных и числовых суффиксов, мы выбрали существительные с акцентологически слабым корнем. В таблице 2, как и во всем тексте статьи, сильные морфемы выделены жирным шрифтом, слабые – обычным шрифтом (курсивом, как и все примеры), экстраметрические – подчеркиванием. Эпентетические гласные и согласные заключены в скобки. Акцентологический статус двусложных морфем, встречающихся только в абсолютном конце словоформы (*-rano*/*-lano*, *-gatic*, *-taco*, *-(r)eki*), установить затруднительно. Перетяжка с них ударений на сильные корни может объясняться как их слабостью, так и правилами разрешения конфликта ударений. Такие морфемы приводятся малыми прописными.

В таблице 2 мы приводим реально зафиксированные текстовые формы. Поэтому там, где это возможно, мы используем лексему *guizoun* /gi̱ún/ ‘человек’, а в других случаях приводятся словоформы других лексем с соответствующими падежными и числовыми суффиксами.

Таблица 2

Акцентуация имени в старосулетинском диалекте Инчаспе

	Неопределенное склонение	**Единственное число**	**Множественное число**
Абсолютив	*guízoun*	*guizoún-a*	*guizoún-ac*
Эргатив	*guizoún-*(*e*)*c*	*guizoún-a-c*	*guizoun-**é**-c*
Датив	*guizoún-i*	*guizoún-a-*(*r*)*i*	*guizoun-**ér***
Партитив	*guizoún-ic*	–*	–*
Генитив	*hanítch-en*	*guizoún-a-*(*r*)*en*	*guizoun-**én***
Инструменталис	*nigárr-*(*e*)*z*	*lagún-a-z*	*guizoun-**éz***
Комитатив	*gou-*(*R*)*ÉKI*	*umi-a-*(*R*)*ÉKI*	*guizoun-**éki***
Мотиватив	*ene-GÁTIC*	*izen-a-GÁTIC*	*lagun-**én**-GATIC*
Пролатив**	*hi-re-TÁCO*	–***	*begui-**én**-TACO*
(Местный генитив)****	–***	*zelú-co*	*zeli-**éta**-co*
(Аблатив)	*hi-tá-ric*	*guizoun-*(*e*)*tic*, *zelú-tic*	*guizoun-**éta**-ric*
(Инессив)	*zú-ta-n*	*zelí-a-n*	*guizoun-**éta**-n*
(Аллатив)	*bate-tá-ra*	*hobí-a-la*	*dizipuli-**éta**-ra*
(Терминатив)	*bate-ta-**rát***	*hiri-a-**lát***	*mendi-**éta-rat**, dizipuli-**eta-rát***
(Аллатив границы)	*bate-ta-RÁNO*	*besti-a-LÁNO*****	*zeli-**éta**-RANO*

* У партитива имеются лишь формы неопределенного типа склонения.

** Может считаться генитивно-послеложной формой.

*** Однозначные примеры в тексте отсутствуют.

**** В скобках выделены падежи с локативным значением: их морфологические особенности отличаются от прочих падежных форм.

***** Форма имеет основу *beste-*.

Из дестинативных форм на *-tzat* в тексте зафиксирована только одна – *hanítch-en-tzát* (большой-GEN.PL-DEST) ‘для больших’. Еще одна форма встречается в грамматическом описании, следующем за текстом: ***noún-cou-a-ren-tzat*** (кто-GENL-SG-GEN-DEST) ‘для которого?’. Судя по тому, что в первой форме имеется два ударения, дестинативный показатель в ней ведет себя не как аффикс или клитика, а как отдельное просодическое слово. С морфологической точки зрения в старосулетинском его можно считать послелогом, управляющим генитивом. Во второй же форме дестинативный показатель, по-видимому, является частью просодического слова. Ввиду отсутствия других примеров данного показателя в тексте невозможно сделать заключение о его акцентологическом статусе.

Показатель аллатива одушевленных существительных *-gan-* с падежными суффиксами часто получает самостоятельное ударение, преимущественно с именами собственными (*Pilátusen-gán-a* (Пилат-ANIM-ALL) ‘к Пилату’, *Phetíri-gán-a* (Петр-ANIM-ALL) ‘к Петру’, *Jésusen-gán-a* (Иисус-ANIM-ALL) ‘к Иисусу’). При этом встречаются и формы, в которых он ведет себя как клитика (*haren-gán-a* (он-ANIM-ALL) ‘к нему’, *alkhar-gán-a* (REC-ANIM-ALL) ‘друг к другу’, *houla-cou-a-gán-a* (так-GENL-SG-ANIM-ALL) ‘к такому’). Следует подчеркнуть, что мы имеем дело с письменным текстом, в котором могут быть отражены не все особенности произношения.

Морфонологические и акцентологические особенности имеют основы на гласный *-o-* /o/, который перед гласными, редуцируясь, переходит в гласный верхнего подъема *-ou-* /u/, и основы на *-u-* /y/, *-e-* /e/, переходящие в /i/. В ряде случаев перетяжка ударения на редуцированный или нередуцированный гласный того же качества возможна даже при акцентологически слабой основе: *emaztí-a-reki* (женщина-SG-COM), *nahí-a-reki* (желание-SG-COM). Иногда это приводит к вариативности, ср. *itchasoú-a-lat* vs *itchasou-a-lát* vs *itchasoú-a-lát* (море-SG-TERM), *iferní-a-lat* vs *iferni-a-lát* (ад-SG-TERM), *urhen-tzí-a-lano* vs *urhen-tzi-a-láno* (кончаться-IPFV-SG-ALLLIM), *eguní-a-lano* vs *eguni-a-láno* (день-SG-ALLLIM). Отметим, что вариативность в этом случае ограничена: экстарметрический суффикс *-a-* ударения получать не может.

Неоднократно было отмечено, что имена с основой на *-a* в сулетинском диалекте ведут себя отлично от других имен не только морфонологически, но и акцентологически [Hualde, 1997, p. 95]. Это проявляется в том, что происходит стяжание гласных и показатель единственного числа *-a-* на поверхностном уровне не появляется, ср. *guízoun* vs *guizoúna*, но *áma* vs *amá*. В результате того, что последний гласный лексемы на *-a* определенного типа склонения исторически был долгим, в словоформе происходит переакцентуация. В акцентологически

слабых основах в единственном числе в таких случаях ударение падает на последний слог: *amá*. Особенностью рассматриваемого нами источника является тот факт, что если словоформа содержит акцентологически сильный корень, возможна вариативность акцентуации: ударение может падать как на корень, так и на *-a-*, ср. *ekhi-jáikiguiatic* vs *ékhi-jaikiguiátic*.

4.7. Генезис старосулетинской акцентной системы

Отступление от дефолтной модели ударения, как уже было отмечено, наблюдается при наличии в словоформе акцентологически сильных или экстраметрических морфем. Рассмотрим происхождение каждого из указанных классов.

Мы уже упоминали два пути появления сильных морфем: стяжение гласных и заимствование с ударением языка-источника [Lafon, 1999, p. 697; Peillen, 1998, p. 463]. Однако, как было сказано, в исследуемом диалекте имеется еще один класс морфем, являющихся акцентологически сильными, – исконных глаголов, чаще всего с фонологической структурой корня CVC (*hár-tu* ‘брать’, *hél-tu* ‘приходить’, *gál-du* ‘губить’ и т.п.)[1].

Выдвинем гипотезу, объясняющую акцентологические особенности таких корней в отличие от корней другой фонологической структуры. Корни данного типа являются одним из самых частотных классов корней с точки зрения встречаемости в текстах. По данным современного словаря баскского языка [MH, 2004], лексический состав которого близок старосулетинскому, из 21 глагола с наибольшей частотностью 5 имеют такую структуру корня (частотным словарем старосулетинского языка мы не располагаем). Однако в баскском языке (и в старосулетинском диалекте, в частности) существуют и другие типы глаголов, часто встречающиеся в текстах, например, глаголы на *-n* (8 лексем из первых 21), как правило, структуры e/iCVn (*ízan* ‘быть’, *égon* ‘быть’, *éman* ‘дать’ и др.), корни которых остались слабыми, или крайне продуктивный класс глаголов на *-tu* с многосложными основами (*mintzátu* ‘говорить’, *ezagútu* ‘знать’), подавляющее большинство корневых морфем которых также остались слабыми.

Как уже было упомянуто, практически все формы баскского глагола являются аналитическими и состоят из вспомогательного глагола и одной из нефинитных форм главного глагола: перфективной, имперфективной, проспективной формы или основы[2]. Исходя из того

[1] Происхождение некоторых других, менее частотных сильных глагольных корней, к сожалению, на настоящий момент остается необъясненным.

[2] Нефинитные формы могут получать показатели склонения, являясь частью зависимой предикации, однако такие формы на порядок более редки по сравнению с их употреблением в составе аналитических глагольных форм.

факта, что дефолтное ударение падало на предпоследний слог (или на единственный слог односложной словоформы), восстановим исходную акцентуацию четырех основных нефинитных форм для глаголов со структурой корня CVC, глаголов со структурой корня e/iCVn и глаголов на *-tu* с многосложными основами (таблицы 3, 4).

Таблица 3

Восстанавливаемая система ударения для классов глаголов с высокой частотностью

	sarthu **‘входить’**	*eman* **‘давать’**	*mintzatu* **‘говорить’**
Перфективная форма	**sár-thu*	**éma-n*	**mintzá-tu*
Имперфективная форма	**sár-tze-n*	**emá-te-n*	**mintzá-tze-n*
Основа	**sár*	**éman*	**míntza*
Проспективная форма	**sar-thú-ren*	**emán-en*	**mintza-tú-ren*

Одинаковой заливкой выделены формы с ударением на одной и той же фонеме.

Таблица 4

Текстовые формы для классов глаголов с высокой частотностью

	sarthu **‘входить’**	*eman* **‘давать’**	*mintzatu* **‘говорить’**
Перфективная форма	*sár-thu*	*éma-n*	*mintzá-tu*
Имперфективная форма	*sár-tze-n*	*emá-te-n*	*mintzá-tze-n*
Основа	*sár*	*éman*	*míntza*
Проспективная форма	*sár-thu-ren*	*emán-en*	*mintza-tú-ren*

Одинаковой заливкой выделены формы с ударением на одной и той же фонеме в реконструируемых формах.

В группе глаголов со структурой корня CVC в трех основных формах из четырех (перфективной, имперфективной и основе) ударение падает на корень, тогда как, например, в группе на *-n* ударение в двух самых распространенных формах – перфективной и имперфективной – не совпадает. В группе на *-tu* не совпадает ударение в основе и перфективном причастии (в разных формах оно может падать на два разные слога основы или на суффикс). Таким образом, можно предположить, что корни фонологической структуры CVC стали сильными

в результате аналогического выравнивания, оснований для которого не было у других частотных классов глаголов.

Таким же образом несколько путей развития можно предположить для экстраметрических морфем. Диахронически появление данного класса морфем могло быть связано с дифтонгизацией гласного, предшествующего суффиксу, и закономерной оттяжкой ударения на дифтонг (*errái-li-ac* (говорить-AGN-ABS.PL) ‘говорящие’). Такая же дифтонгизация происходит и перед имперфективным суффиксом *-te-* с теми же акцентными свойствами. Однако в тексте акцентологические свойства суффиксов *-te-* и *-le-* проявляются даже в формах, в которых исходно дифтонгизации не было, ср. *já-li-ac* (есть-AGN-ABS.PL) ‘едоки’. Таким образом, ударение, позиция которого была изначально обусловлена фонологическим фактором, морфонологизировалось и стало характеристикой акцентных свойств морфемы. Отметим, что те немногие формы, в которых суффикс *-le-* не ведет себя как экстраметрический, являются именно формами без дифтонгизации.

Происхождение акцентологических свойств показателя единственного числа *-a-*, вероятно, вызвано выравниванием ударения в парадигме, не связанным с дифтонгизацией. Продемонстрируем это, сравнив для этого восстанавливаемое дефолтное ударение в предпоследнем слоге и зафиксированное старосулетинское ударение в базовых падежах (таблица 5).

Таблица 5

Восстанавливаемое и текстовое ударение в единственном числе

	Восстанавливаемое ударение	**Текстовые формы**
Абсолютив	**guizoún-a* /giʂúna/	*guizoún-a* /giʂúna/
Эргатив	**guizoún-a-k* /giʂúnak/	*guizoún-a-k* /giʂúnak/
Датив	**guizoun-á-ri* /giʂúnári/	*guizoún-a-ri* /giʂúnari/
Генитив	**guizoun-á-ren* /giʂúnáren/	*guizoún-a-ren* /giʂúnaren/

Одинаковой заливкой выделены формы с ударением на одной и той же фонеме.

Отметим, что постоянное ударение в единственном (на корне) и множественном числе (на числовом суффиксе), характерно для говора старосулетинского диалекта, описанного в [Gèze, 1873]. Для него есть сильные основания предположить аналогическое выравнивание, т.к. в абсолютиве единственного числа нет исторических оснований для суффиксального ударения.

Вариативное ударение на четвертом от конца или предпоследнем слоге при появлении экстраметрической морфемы на третьем от конца слоге может быть связано с влиянием языков, находившихся в контакте с баскским и, в частности, старосулетинским. Источником ранних заимствований в старосулетинский является латынь, для которой характерно ударение на второй или третий слог от конца и в редких случаях – последний при невозможности его постановки на четвертый и далее слог от конца. Для испанского языка наиболее характерно ударение на предпоследний и последний слог, но ударение на третьем слоге от конца также является распространенным. Ударение в гасконском языке[1] падает на последний или предпоследний слог, однако в средние века могло падать и на третий слог от конца [Sichel-Bazin et al., 2015, p. 200]. Таким образом, данная вариативность ударения может быть описана в терминах конкурирующих мотиваций: с одной стороны, может реализоваться ударение на четвертом слоге с конца, предсказанное фонологическими правилами, а с другой стороны, поскольку данное место ударения крайне нетипично для фонологических систем рассматриваемого региона, внесших свой вклад в изменение просодической системы сулетинского, ударение может падать для наиболее характерный для них слог – предпоследний.

Аналогическое выравнивание могло сыграть роль и в становлении акцентологических свойств показателя множественного числа. Так, бóльшая акцентологическая сила суффикса множественного числа ***-e-*** по сравнению с суффиксом ***-eta-*** может быть вызвана тем фактом, что первый из них стал сильным, возникнув на месте стяжения гласных. Второй же, по всей вероятности, стал сильным уже под влиянием аналогического выравнивания.

5. Выводы

Резюмируем результаты нашего исследования в виде алгоритма, позволяющего приписывать ударение словоформам текста, исходя из акцентологических характеристик морфем, входящих в их состав. Исключения из данного алгоритма наблюдаются, но они достаточно редки.

1. Словоформа может содержать одну или более морфем, входящих в три акцентологических класса морфем: слабые, сильные и экстраметрические. Экстраметрические морфемы, в отличие от сильных и слабых, не могут быть единственным акцентологическим типом морфем в слове. Акцентологическая характеристика морфемы является ее постоянным свойством и крайне редко подвержена варьированию.

[1] В период, предшествующий созданию рассматриваемого памятника, влияние французского языка на баскский было более ограничено по сравнению с гасконским.

2. Словоформа, состоящая из единственного слога, получает ударение на этот слог.

3. Словоформа, состоящая из акцентологически слабых морфем, получает ударение на предпоследний слог.

4. При стыке двух морфем, первая из которых заканчивается, а вторая начинается на *-a-*, происходит стяжение гласных /a/ + /a/ > /a/, и результирующий гласный ведет себя как потенциально ударный гласный сильной морфемы.

5. Словоформа, в состав которой входят акцентологически сильные морфемы (наряду с акцентологически слабыми или экстарметрическими или без них), получает ударение на последней акцентологически сильной морфеме. Исключениями являются комбинации показателей суперлатива ***-en-*** и множественного числа ***-eta-*** (ударение получает первая из двух морфем), а также комбинация акцентологически сильного корня с показателем множественного числа и комбинация показателя множественного числа ***-eta-*** с показателем терминатива ***-rat*** (ударение может получать любая из сильных морфем).

6. При наличии в словоформе одной или нескольких экстраметрических морфем ударение падает на слог, стоящий перед первой из них.

7. Если в результате применения вышеперечисленных правил место ударения определяется как четвертый или далее слог от конца, возможна также и постановка ударения на второй слог от конца.

Как сильные, так и экстраметрические морфемы в старосулетинском могут иметь разное происхождение. Для сильных морфем можно предложить три разных источника возникновения (два были ранее предложены, один предложен нами). Для экстраметрических морфем можно предложить два разных происхождения (оба предложены нами). Как для сильных, так и для экстраметрических морфем в качестве одного из источников происхождения акцентологических свойств можно предположить аналогическое выравнивание.

Библиографический список / References

Гард, 2015 – Гард П. Ударение. СПб., 2015. [Gard P. Udarenie. [Accent]. St. Peterburg, 2015.]

Дыбо, 2000 – Дыбо В.А. Морфонологизированные парадигматические акцентные системы: Типология и генезис. Т. 1. М., 2000. [Dybo V.A. Morfonologizirovannye paradigmaticheskie aktsentnye sistemy: Tipologiya i genezis [Morphophonologised paradigmatic accentuation systems: typology and origin]. Vol. 1. Moscow, 2000.]

Заика, 2017 – Заика Н.М. Наложение просодических составляющих в старосулетинском диалекте баскского языка // Вопросы языкознания. 2017. № 2.

C. 96–108. [Zaika N.M. Overlap of prosodic constituents in Old Souletin Basque. *Voprosy jazykoznanija.* 2017. № 2. Pp. 96–108.]

Auwera, 1998 – Auwera J. van der. Phasal adverbials in the languages of Europe. *Adverbial Constructions in the Languages of Europe*. Auwera J. van der, Baoill D.Ó. (eds.). Berlin, New York, 1998. Pp. 25–146.

Bonaparte, 1869 – Bonaparte L.L. Carte des sept provinces basques. 1869.

Gaminde, 1995 – Gaminde I. Zubereraren azentuaz. *Uztaro.* 1995. № 3. Pp. 107–128.

Gaminde, 1998 – Gaminde I. *Euskaldunen azentuak*. Bilbao, 1998.

Gaminde, 1999 – Gaminde I. Bakioko azentuaz. *Fontes Linguae Vasconum*. 1999. Vol. 80. Pp. 73–94.

Gaminde, Hualde, 1995 – Gaminde I., Hualde J.I. Euskal azentu-ereduen atlaserako: zenbait isoglosa. *Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo*. 1995. Vol. XXIX–I. Pp. 175–197.

Garde, 2006 – Garde P. Accentuation et morphologie. *Le mot. L'accent. La phrase*. Paris, 2006. Pp. 85–93.

Gèze, 1873 – Gèze L. Éléments de grammaire basque, dialecte souletin; suivis d'un vocabulaire basque-français et français-basque. Bayonne, 1873.

Hualde, 1997 – Hualde J.I. Euskararen azentuerak. Donostia; Bilbo, 1997.

Hualde, 1999 – Hualde J.I. Basque accentuation. *Word Prosodic Systems in the Languages of Europe.* van der Hulst H. (ed.). Berlin, 1999. Pp. 947–993.

Hualde, 2006a – Hualde J.I. Estado actual en las investigaciones sobre la acentuación en lengua vasca. *Oihenart*. 2006. Vol. 21. Pp. 149–177.

Hualde, 2006b – Hualde J.I. Remarks on Word-Prosodic Typology. *Proceedings of the Berkley Linguistic Society*. 2006. Vol. 32. Pp. 157–174.

Hualde, 2008 – Hualde J.I. Acentuación y cronología relativa en la lengua vasca. *Oihenart*. 2008. Vol. 23. Pp. 199–217.

Hualde, Ortiz de Urbina, 2003 – A grammar of Basque. Hualde J.I., Ortiz de Urbina J. (eds.). Berlin, 2003.

Inchauspé, 1856 – Inchauspé E. Jesus-Kristen Ebanjelio Saintia. Zuberouco uscaralat utzuliric. Bayonne, 1856.

Irurtzun, 2006 – Irurtzun A. Stress on Accent; Errenteria Basque Revisited. *15th ICPhS*. M.J. Solé, D. Recasens, J. Romero (eds.). Barcelona, 2006. Pp. 2075–2078.

Jacobsen, 1975 – Jacobsen W. Historical implications of the Western Basque tonal accent. Manuscrito. University of Nevada-Reno, 1975.

Lafon, 1999 – Lafon R. Observations sur la place de l'accent dans quelques formes basques des parlers souletins. *Vasconiana* [*IKER-11*]. Bilbo, 1999. Pp. 697–703.

Larrasquet, 1932 – Larrasquet J. Phonétique du basque de Larrajá, (quartier de Barcus). *La Revista Internacional de los Estudios Vascos*. 1932. Vol. 23. Pp. 153–191.

Larrasquet, 1934 – Larrasquet J. Le basque souletin nord-oriental. Paris, 1934.

Larrasquet, 1939 – Larrasquet J. Le basque de la Basse-Soule orientale. (Collection Linguistique, 46). Paris, 1939.

MH, 2004 – Maiztasun hiztegia. Donostia, 2004.

Michelena, 1958 – Michelena L. Euskaltzaindian sartzerakoan Ormaetxea jaunak egindako itzaldia eta Mitxelena jaunaren erantzuna. *Euskera* (2a época) 1958. Vol. 3. Pp. 36–44.

OEH – Orotariko Euskal Hiztegia. URL: www.euskaltzaindia.eus/oeh.

Peillen, 1998 – Peillen Tx. Urrüstói, Atharrátze, Líginàga edo zubereraren egiazko doiñuez. *Antoine d'Abbadie 1897–1997. Congrès International.* (Hendaye, 1997). Donostia; Bilbao, 1998. Pp. 453–472.

Rijk, 2008 – Rijk R.P.G. de. Standard Basque: A progressive grammar. Cambridge, Mass., London, 2008.

Sichel-Bazin et al., 2015 – Sichel-Bazin R., Meisenburg T., Prieto P. Intonation phonology of Occitan: Towards a prosodic transcription system. *Intonation in Romance*. Frota S., Prieto P. (eds.). Oxford, 2015. Pp. 198–234.

Trask, 2008 – Trask R.L. Etymological Dictionary of Basque. University of Sussex, 2008.

Zuazo, 2003 – Zuazo K. Euskalkiak. Herriaren lekukoak. Donostia, 2003.

Zuazo, 2008 – Zuazo K. Euskalkiak. Euskararen dialektoak. Donostia, 2008.

Статья поступила в редакцию 23.05.2017

The article was received on 23.05.2017

Наталья Михайловна Заика – кандидат филологических наук; старший научный сотрудник Лаборатории типологического изучения языков, Институт лингвистических исследований РАН, г. Санкт-Петербург; старший преподаватель кафедры общего языкознания филологического факультета, Санкт-Петербургский государственный университет; доцент кафедры сравнительного литературоведения и лингвистики, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге

Natalia M. Zaika – PhD in Philology; Senior Researcher of Laboratory of Linguistic Typology, Institute for Linguistic Studies, Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg; Senior Lecturer of Department of General Linguistics, St. Petersburg State University; Senior Lecturer of Department of Comparative Literature and Linguistics, Higher School of Economics – Saint Petersburg, Russian Federation

E-mail: zaika.nat@gmail.com
n.zaika@spbu.ru

Ю.Д. Потанина

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
119234 г. Москва, Российская Федерация

Сравнительный анализ методик измерения объема рабочей памяти у носителей русского языка (психолингвистическое исследование)

Статья посвящена сравнительному анализу методик по определению объема рабочей памяти при порождении речи на материале русского языка: Alpha Span и Speaking Span. В работе демонстрируется значимая корреляция между различными способами измерения объема рабочей памяти. Корреляционный анализ показал, что методики определения объема рабочей памяти при порождении являются адекватными мерами и могут быть использованы при анализе взаимосвязи объема рабочей памяти и показателей беглости речи.
Ключевые слова: психолингвистика, рабочая память, русский язык, беглость речи.

Yu.D. Potanina

Lomonosov Moscow State University,
Moscow, 119234, Russian Federation

Comparative analysis of methods of measuring the volume of working memory for native speakers of Russian (psycholinguistic research)

In this paper, we analyze verbal working memory measures: Alpha Span and Speaking Span on material of Russian language. This research demonstrates significant correlation between different measures of working memory. Correlation analysis shows that methods of verbal working memory capacity assessment are reliable and can be used for analysis of relationships between working memroy capacity and verbal fluency.
Key words: psycholinguistics, working memory, Russian language, verbal fluency.

1. Понятие рабочей памяти в психолингвистике

Термин «рабочая память» (далее РП) был впервые использован в работе Дж. Миллера с соавторами [Miller et al., 1960]. Как правило, психологи и психолингвисты определяют РП как способность удерживать небольшие фрагменты информации, необходимые для сиюминутной мыслительной деятельности, например, для решения логической задачи или осознания сложной информации. Согласно определению, данному А. Бэддели, РП – это система, предоставляющая временное хранилище для информации и осуществляющая с ней манипуляции, необходимые для решений сложных когнитивных задач [Baddeley, 1997]. Несмотря на то, что РП исследуют уже более полувека, разногласия по фундаментальным теоретическим вопросам ее функционирования остаются и по сей день. Среди них можно перечислить вопросы о том, что ограничивает РП, каков механизм ее функционирования и какие меры когнитивных способностей человека коррелируют с объемом РП.

РП изучают в связи с самыми различными явлениями и понятиями (речь, интеллект, внимание и др.), в том числе в междисциплинарных исследованиях, поэтому единого и общепринятого определения РП до сих пор не существует. Однако исследователи согласны в одном: объем информации, сохраняемый для непосредственного быстрого доступа, ограничен. Материал, который не используется в данный момент для решения какой-либо задачи, либо переносится в долговременное хранилище, либо теряется. Вопрос об измерении объема доступной информации относится к ключевым для изучения многих когнитивных процессов: арифметических вычислений в уме, чтения, восприятия речи и ее порождения и многих других видов интеллектуальной деятельности человека.

2. Способы измерения объема рабочей памяти

В 1956 г. Дж. Миллер проанализировал существующие на тот момент работы и ощутил, что число семь его «преследует» [Miller, 1956]. Опыты, проведенные, например, в работах [Hayes, 1952; Pollak, 1953] показывали, что объем рабочей памяти ограничен и составляет примерно семь плюс/минус два объекта (отсюда и название знаменитой работы Миллера «Магическое число семь плюс или минус два. О некоторых пределах нашей способности перерабатывать информацию»). Исследования постоянно демонстрируют, что объем РП варьируется от испытуемого к испытуемому [Barrett et al., 2004]. Индивидуальные различия в объеме РП связаны со способностью человека распределять ее ресурсы в новых ситуациях, при решении задач с мешающими факторами, в условиях с ограничениями по времени.

Понятие РП тесно связано со способами ее измерения. Методики, призванные измерять объем РП в условиях, в которых необходимо распределение ее ресурсов, получили название «сложные задания на определение объема РП» (*complex span tasks*) и состоят в том, что испытуемые тем или иным способом (в зависимости от специфики теста) должны не только хранить информацию в РП, но и активно обрабатывать ее для решения какой-либо задачи. Другими словами, определенный фрагмент информации должен оставаться доступным для активной обработки и легко извлекаться из памяти. В то же время, задания подразумевают, что этот фрагмент постоянно меняется от начала к концу тестирования, внимание переводится с одного объекта на другой [Baddeley, Hitch, 1974]. Опыт проведения подобных тестов демонстрирует, что объем фрагмента информации, который испытуемый способен использовать при решении когнитивной задачи, не одинаков у разных испытуемых. Более того, оказалось, что индивидуальные различия в объеме РП, измеренном такими методиками, коррелируют с успешностью испытуемых в заданиях на понимание и порождение речи.

2.1. Тесты на определение объема рабочей памяти при понимании речи

Одной из методик определения объема РП является тест, разработанный в [Daneman, Carpenter 1980]. Авторы предположили, что в процессе чтения некоторого текста в РП человека происходят процессы, связанные как с пассивным хранением поступающей информации, так и с ее активной обработкой. Однако в то время существовали методики, которые тестировали только первую из этих двух составляющих – компонент хранения информации, нивелируя тем самым индивидуальные различия испытуемых. Между тем, с точки зрения авторов, эти различия возникают не вследствие большего или меньшего объема хранилища, а именно как следствие высокой или низкой эффективности при распределении ресурсов РП, способности отводить какую-то часть этих ресурсов для хранения поступающей информации, а другую – для ее обработки [Федорова, 2010].

Тест Reading Span был разработан с целью исправить этот недочет в ранее существовавших методиках. Задание заключалось в том, что испытуемые должны были читать вслух одно за другим 60 предложений и запоминать последнее слово в каждом предложении. Разумеется, эти 60 предложений предъявлялись небольшими группами по 2, 3, 4, 5 и 6 предложений, а не все сразу. Сложность теста нарастала от начала к концу: если в начале теста испытуемые должны были прочитать про себя всего два предложения, запомнить два последних слова

и отчитаться о них устно, то к концу им необходимо было справиться с объемом в 6 предложений и 6 слов. Таким образом, во время теста необходимо было не только пассивно хранить информацию в РП (удерживать в памяти несколько слов), но и отвлекаться на активную обработку предъявляемого текста – на чтение. Оказалось, что справиться с подобным заданием не так просто, и некоторые испытуемые демонстрировали сложности с воспроизведением всех слов уже на этапе с предъявлением трех предложений. Этот факт подтверждает гипотезу авторов о том, что объем РП у испытуемых варьируется вследствие различий в способности распределять ресурсы между хранением и обработкой.

Данный тест был адаптирован к русскому материалу и использован для исследования индивидуальных различий испытуемых при понимании речи [Fedorova, Pechenkova, 2007; Федорова, 2010]. К русскому материалу был адаптирован и тест на определение объема РП при понимании речи, использовавшийся в работе [Daneman, Carpenter, 1980]. В этом тесте испытуемые должны были устанавливать антецедент местоимения (встречающегося участникам эксперимента в последнем предложении) после прочтения дискурсивного фрагмента. Расстояние от антецедента до анафора варьировалось от 2 до 7 предложений. Как в исследовании [Daneman, Carpenter, 1980], так и в работе [Fedorova, 2010] было показано, что испытуемые с большим объемом РП лучше справляются с такими заданиями, чем испытуемые с меньшим объемом, т.е. совершают меньшее количество ошибок при установлении антецедента местоимения. Эффект зависимости механизмов понимания речи от объема РП был обнаружен и при анализе сложноподчиненных предложений с относительными придаточными и с придаточными времени [Fedorova, Yanovich, 2006; Fedorova, Pechenkova, 2007].

2.2. Тесты на определение объема рабочей памяти при порождении речи

Одна из первых оценок мер объема РП, получаемых с помощью различных тестов, была проведена в работе [Turner, Engle, 1989]. Исследователи провели целый ряд тестов, чтобы ответить на простой вопрос, вынесенный в заголовок статьи: «Зависит ли объем рабочей памяти от задания?» (Is working memory capacity task dependent?). В исследовании было проведено 7 различных тестов, 6 из которых тестировали объем рабочей памяти. Результаты продемонстрировали значимые корреляции между результатами тестов на объем РП.

В работе [Waters, Caplan, 2003] тоже было описано сразу несколько тестов на определение объема рабочей памяти. Цель исследования заключалась в сравнительном анализе различных методик и проверке

гипотезы о корреляции между ними. Авторам удалось продемонстрировать значимые корреляции между несколькими тестами (алфавитным тестом, который будет описан подробно ниже, тестом с запоминанием цифр, тестом с запоминанием цифр и воспроизведением их вслух в обратном порядке, тестом с запоминанием пропущенной цифры, тестом с вычитанием двойки из запоминаемых цифр и, наконец, тестом с предложениями). Аналогичные результаты были получены и в работе коллектива исследователей [Conway et al., 2005]. Все эти результаты говорят нам о единой природе тестов на определение объема вербальной рабочей памяти. Вслед за зарубежными исследователями в этой работе мы производим сравнительный анализ методик по определению объема рабочей памяти при порождении речи, но уже на материале русского языка[1].

В то время как методики тестирования объема РП при понимании речи и поиск зависимости между объемом РП и характеристиками речевого поведения уже достаточно хорошо проработаны и апробированы примерно на тысяче испытуемых [Fedorova, Pechenkova, 2007; Федорова, 2010], тестирование объема РП при порождении речи пока изучено не так хорошо.

В работах прошлых лет авторам статьи удалось произвести адаптацию теста американской исследовательницы М. Данеман [Daneman, 1991] Speaking Span к русскому языку и изучить взаимосвязь между объемом РП, измеренным с помощью этого теста, и индивидуальными различиями испытуемых при порождении речи. В работах [Федорова, Потанина, 2013; Федорова, Потанина, 2016; Потанина et al., 2016] были обнаружены значимые корреляции между объемом РП, измеренном тестом Speaking Span, и такими показателями успешности при порождении речи, как скорость чтения, скорость порождения нарратива по картинке, скорость чтения скороговорок, число оговорок в тесте с искусственным подталкиванием к оговоркам и, наконец, с числом вербальных маркеров затруднений при порождении спонтанного нарратива на материале рассказов о грушах [Chafe, 1980].

Тест на определение объема РП Speaking Span был разработан М. Данеман по аналогии с тестом Reading Span, описанным выше. Тест Speaking Span является зеркальным отражением теста на чтение: в процессе тестирования испытуемые не читают предложения, а составляют их сами, используя слова, предъявленные на экране. Для русской адаптации теста было отобрано ровно 100 слов (по 25 глаголов, наречий, прилагательных и существительных), которые были распределены

[1] Автор выражает благодарность анонимному рецензенту за напоминание о необходимости привести ссылки на зарубежные работы по теме исследования.

в группы по 2, 3, 4, 5 и 6 слов. Каждое слово включалось в последовательность предъявления, только если было семибуквенным и достаточно употребительным в соответствии с частотностью, указанной в «Частотном словаре современного русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка)» [Ляшевская, Шаров, 2009]. Все слова в последовательности предъявления были уникальными (встречались только один раз). Распределение списка слов по блокам было произведено в таким образом, чтобы испытуемым было как можно сложнее выстраивать семантические связи между словами в блоке (дабы избежать легкого запоминания всей группы). Таким образом, последовательность предъявления состоит из блоков, подобных приведенному: *однажды*, *голосом*, *заранее*, *написал*, *порядки.*

Каждое слово появляется перед испытуемым на 1 с на экране компьютера в презентации Power Point. Участник тестирования получает инструкцию читать слова про себя. Сразу после последнего слова в группе звучит щелчок, сигнализирующий о том, что нужно приступать к устному отчету, и слово сменяет пустой слайд (белый экран). Увидев пустой экран, испытуемый должен придумать с каждым прочитанным словом по одному предложению и произнести все предложения вслух одно за другим, причем целевое слово в каждом предложении должно стоять точно в той форме, в которой было предъявлено. Например, для блока из пяти слов, приведенного выше, испытуемые должны были составлять предложения, подобные этим: ***Однажды*** *я опаздывал на работу и воспользовался такси*; *Участники конкурса блестяще владели* ***голосом***; *Студент сдал курсовую* ***заранее***; *Сын* ***написал*** *матери длинное письмо*; *Здесь у вас очень странные* ***порядки***.

Испытуемому разрешалось придумывать предложения только в том порядке, в котором предъявлялись слова. Объемом РП в данном тесте являлось общее количество слов, с которыми испытуемый смог составить грамматически корректные предложения. То есть, если в ходе тестирования было составлено ровно 63 предложения, объем РП в *нестрогом подсчете* считается равным 63%. *Строгий подсчет* снимает баллы за ошибки в порядке составления предложений и в форме слова. Таким образом, если из этих 63 предложений в двух форма слова не соответствовала форме, в которой слово было предъявлено в последовательности, а один раз предъявленные слова использовались в предложениях в другом порядке, испытуемый терял еще 3 балла, и его результат равнялся 60%.

Ожидаемым образом, далеко не все испытуемые справлялись с заданием. Большинство участников делали ошибки, забывая слова и пропуская составление предложений для них, путая порядок и форму слов.

Этот результат подтверждает нашу гипотезу о том, что тест создает высокую нагрузку на РП, а именно на оба ее компонента – компонент хранения (запоминание слов) и компонент активной обработки (составление предложений). После прохождения теста некоторые испытуемые делились своими впечатлениями и рассказали, что в процессе составления предложения с первым же словом все остальные слова «стирались» из памяти. Это говорит о том, что порождение предложений, каким бы простым и естественным не казался этот процесс, безусловно, создает нагрузку на РП и с трудом сочетается с выполнение других параллельных задач. Однако является ли составление предложений уникальным процессом или другие манипуляции со словами будут создавать такую же нагрузку на РП? Будет ли тест объема РП при порождении предложений коррелировать с другими тестами на определение объема РП?

В данной работе мы постараемся ответить на эти вопросы с помощью нового теста на определение объема РП – Alpha (или Alphabetic) Span [Craik et al., 1986; Waters, Caplan, 2003]. Целью адаптации теста Alpha Span к русскому языку является альтернативная оценка объема РП русскоговорящих носителей и сравнение различных способов его определения. Мы предполагаем, что результаты любого аналогичного теста, измеряющего одновременно компоненты хранения и активной обработки информации, поступившей в кратковременную память, будут коррелировать с результатами теста Speaking Span.

Оригинальный англоязычный тест был впервые проведен и описан в работе [Craik et al., 1986], посвященной изучению объема РП у испытуемых из разных возрастных групп. В работе описана следующая процедура: испытуемым предъявляются слова, например, *rat – leg – tree – house – wood – chair*, они должны были запомнить последовательность и воспроизвести ее, но уже в алфавитном порядке: *chair – house – leg – rat – tree – wood*. Все предъявленные последовательности состояли из односложных слов. Количество слов в каждой серии варьировалось от 2 до 8. В своем исследовании мы провели аккуратную адаптацию данного теста к русскому материалу. Опыт проведения теста Speaking Span показывает, что с последовательностью из двух слов здоровые испытуемые справляются почти без затруднений. Поэтому предъявление начинается с групп, состоящих из трех слов, чтобы немного сократить тест и свести к минимуму фактор усталости участников. В общей сложности у нас получилось по три группы из 3, 4, 5, 6, 7 и 8 слов, в сумме 99 слов. Как и в случае с тестом Speaking Span, мы выбрали слова из «Частотного словаря современного русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка)» [Ляшевская, Шаров, 2009] так, чтобы они были как можно более близкими друг к другу

по частотности. Для теста было решено использовать 4 части речи: существительные, прилагательные, глаголы и наречия. По 25 существительных, прилагательных, глаголов и 24 наречия. Исследуя РП носителей русского языка с помощью теста Speaking span, мы убедились в том, что существительные запоминаются лучше, чем другие части речи. Чтобы алфавитный тест мог служить аналогом теста Speaking span и казался испытуемым сопоставимым по сложности, мы повторили процедуру подбора стимульного материла и выбрали слова из разных частей речи. Из последовательности предъявления были удалены омонимы (например, было исключено слово *течь*, т.к. оно может быть как существительным, так и глаголом в разных контекстах). Для теста мы выбирали только односложные слова, поэтому в выборку попали только слова длиной от 2 до 6 букв. Слова с очевидными негативными коннотациями в выборку не попали (*скот*, *негр*, *зэк* и т.д.).

Подобрать почти сотню слов, удовлетворяющих всем перечисленным критериям, оказалось не так просто. Для того чтобы собрать достаточное количество слов для последовательности предъявления, пришлось делать выбор внутри относительно широкого диапазона ipm (от 275,3 до 3,2). Только внутри такого широкого окна частот удалось подобрать достаточное количество односложных прилагательных, существительных, глаголов и наречий, удовлетворяющих всем вышеперечисленным критериям. При подборе прилагательных оказалось, что большинство из них в «Частотном словаре современного русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка)» [Ляшевская, Шаров, 2009] имеют длину от 5 букв и почти все они не являются односложными (исключения: *рад* и *злой*). Для решения этой проблемы было решено выбрать 25 прилагательных из вышеописанного частотного диапазона и превратить полные формы в краткие (м. р., ед. ч.), например, *юный – юн*, *малый – мал*.

Готовая последовательность предъявления состояла из групп по три блока из 3, 4, 5, 6, 7 и 8 слов. Внутри каждого блока были подобраны максимально непохожие по значению и звучанию слова. Слова были организованы в случайном порядке (не по алфавиту). Пример блока: *мощь*, *стаж*, *впрок*, *тверд*, *греть*, *вмиг.*

Испытуемых просили постараться запомнить все слова ровно в той форме, в которой они были предъявлены и произнести их вслух, сразу после того, как они услышат звуковой сигнал и увидят белый экран, но уже отсортировав в алфавитном порядке. Как и в тесте Speaking Span, каждое слово предъявлялось испытуемому в течение 1 с. Таким образом, мы ожидали, что испытуемые, которым был предъявлен блок, описанный выше, воспроизведут его следующим образом: *вмиг*, *впрок*,

греть, *мощь*, *стаж*, *тверд*. Испытуемые получили дополнительную инструкцию сортировать слова, которые начинаются на одну и ту же букву, по второй букве.

Как и в тесте Speaking Span, последовательность предъявления была организована в виде презентации Power Point. Испытуемым предъявлялось по одному слову на каждом слайде, блоками от 3 до 8 слов, с паузой после каждого блока. В конце блока звучал короткий сигнал, по которому испытуемый должен начинать воспроизведение увиденной последовательности в алфавитном порядке. Результатом теста считалось количество слов, верно предъявленных в алфавитном порядке во время тестирования (в процентах).

2.3. Сравнительный анализ результатов тестирования объема рабочей памяти

В тестировании приняли участие 32 человека: 16 женщин и 16 мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. Необходимо отметить, что в исследовании принимали участие испытуемые, заинтересованные в своих результатах. Большинство участников были привлечены с помощью социальных сетей Вконтакте и Facebook. Автор данного исследования разместил публикации с призывом поучаствовать в тестировании и проверить свою память в группах, посвященных развитию памяти и различным мнемотехникам. Интерес к мнемотехникам и способность их применять обычно направлены на эффективное кодирование информации в долговременную память. Для того, чтобы убедиться в том, что испытуемые выполняли задание, не сохраняя слова в долговременную память, мы просили их перечислить все слова, которые они смогли запомнить после прохождения обоих тестов. Как правило, испытуемые перечисляли не больше 2–3 существительных (обычно это *ботинки*, *бутылку*, *военные* или другие слова, которые легко визуализируются)[1]. Таким образом, мы привлекли к тестированию заведомо заинтересованных людей из различных уголков страны. В исследовании приняли участие жители Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Северодвинска и других городов России. Каждый испытуемый получал результаты сразу после прохождения теста и, таким образом, не только помогал данному исследованию своим участием, но и проверял свою память.

Для проведения тестирования использовался ноутбук или стационарный компьютер испытуемого с установленными программами Skype

[1] Автор выражает благодарность анонимному рецензенту, указавшему на то, что выбор испытуемых может являться возможным источником артефактов, ведь люди, владеющие мнемотехниками, могут эффективнее других испытуемых кодировать информацию в долговременную память.

и PowerPoint, с помощью которой участникам предъявлялись поочередно презентации с тестами Speaking Span и Alpha Span. Испытуемые должны были созвониться с нами по Skype, получить презентацию с тестом, открыть ее на полный экран в режиме презентации и отключить все нотификации на компьютере, чтобы избежать любых отвлекающих факторов. Кроме того, участники тестирования давали свое согласие на диктофонную запись и демонстрировали экран своего компьютера на все время проведения тестирования. Испытуемые, не давшие согласие на демонстрацию экрана, в тестировании не участвовали. Таким образом, в каждый момент тестирования мы видели, что происходит на экране компьютера у испытуемого и его самого, тем самым контролируя, чтобы участники тестирования не использовали ручку и бумагу для записи слов. (Некоторые испытуемые признались, что испытывали желание что-то записать, т.к. нагрузка на память оказалась для них неожиданно большой.)

Для фиксирования ответов и моментального подсчета объема РП в обоих тестах были составлены специальные анкеты, где отмечаются данные об испытуемом и приведены все слова из списка с колонкой для отметки успешности запоминания того или иного слова. Для того чтобы нивелировать фактор усталости, мы варьировали последовательность прохождения тестов. У половины испытуемых первым был тест Alpha Span, у другой половины Speaking Span.

В первую очередь в этом исследовании нам было интересно узнать, является ли нагрузка на РП одинаковой в обоих тестах. Поэтому после прохождения тестов испытуемые рассказывали, какой из них показался им более сложным. Результаты опроса приведены на рисунке 1.

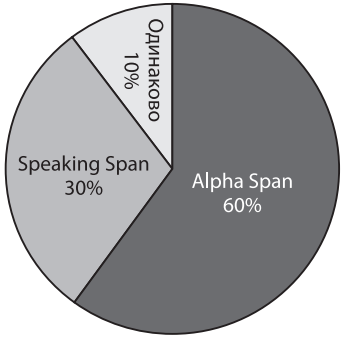

Рис. 1. Результаты ответа испытуемых на вопрос, какой тест показался им более сложным

Из диаграммы видно, что вопреки нашим ожиданиям, нагрузка в тестах оказалась неодинаковой. В большинстве случаев (60%) испытуемые признавали алфавитный тест более сложным. Мы склонны полагать, что сложность заключалась в том, что в алфавитном тесте блоки были в среднем длиннее, чем в тесте с предложениями. Кроме того, все слова были «на одно лицо», односложные и даже созвучные. Перед

тестированием мы ожидали, что ошибок в форме слова не будет совсем, ведь слова совсем короткие и словоизменение привело бы к удлинению слова, изменению его морфемной структуры и даже смещению ударения. Таким образом, ошибка в форме приводила бы к тому, что слово переставало бы вписываться в блок, испытуемый понимал бы, что допустил ошибку, и либо просто пропускал бы слово (понимал бы, что такого слова не было), либо исправлялся. Однако наши ожидания не оправдались, и ошибки, допускаемые в ходе тестирования, оказались более «творческими». В частности, испытуемые пропускали некоторые звуки, добавляли лишние, сохраняя односложную структуру слова, придумывали несуществующие слова. Одна из самых распространенных ошибок – воспроизведение слова из предыдущего блока.

Оказалось, что объективные результаты тестирования говорят о том же, о чем и субъективная оценка участников: тест с организацией слов в алфавитном порядке оказался сложнее (таблица 1).

Таблица 1

Сравнение средних результатов в тестах Alpha Span и Speaking Span, строгий (штраф за неверный порядок и/или ошибку в форме) и нестрогий подсчеты

	Alpha Span		Speaking Span	
	Нестрого	**Строго**	**Нестрого**	**Строго**
Среднее (32 испытуемых)	57,3%	54,3%	63,6%	57,2%

Тем не менее, результаты обоих тестов демонстрируют значимые корреляции (таблица 2).

Из таблицы мы видим, что результаты обоих тестов на определение объема РП при порождении речи – Speaking Span и Alpha Span – значимо коррелируют между собой. Этот результат говорит об адекватности обоих тестов. Несмотря на то, что алфавитный тест оказался несколько сложнее, ошибки, которые допускали испытуемые, и мнемотехники, используемые для увеличения числа запоминаемых слов, были одинаковыми в обоих тестах.

Корреляции между результатами в тестах на определение объема РП показывают и курсовые работы [Слабодкина, 2011; Давыдова, 2017]. Т. Слабодкиной удалось продемонстрировать значимые корреляции между результатами тестов Speaking Span и Reading Span, что говорит о том, что оба теста – тест на определение объема РП и при порождении

речи, и при понимании – являются адекватными методиками тестирования объема РП и создают сопоставимую нагрузку на компоненты хранения и активной обработки информации. Курсовая работа В. Давыдовой 2017 г. демонстрирует ту же картину: на материале ответов 20 студентов РГГУ удалось показать значимые корреляции между тремя тестами Speaking Span, Alpha Span и Reading Span (все результаты значимы на уровне менее 0,05).

Таблица 2

Корреляции между результатами теста Alpha Span и Speaking Span в строгом и нестрогом подсчетах

			Alpha Span		**Speaking Span**	
			Нестрого	**Строго**	**Нестрого**	**Строго**
Alpha Span	Нестрого	Корреляция Пирсона	1	0,948*	**0,701***	**0,672***
		Значимость		0,000	**0,000**	**0,000**
		N	32	32	**32**	**32**
	Строго	Корреляция Пирсона	0,948*	1	**0,582***	**0,608***
		Значимость	0,000		**0,001**	**0,000**
		N	32	32	**32**	**32**
Speaking Span	Нестрого	Корреляция Пирсона	0,701*	0,582*	1	0,910*
		Значимость	0,000	0,001		0,000
		N	32	32	32	32
	Строго	Корреляция Пирсона	0,672*	0,608*	0,910*	1
		Значимость	0,000	0,000	0,000	
		N	32	32	32	32

* Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

Таким образом, в исследованиях, посвященных анализу взаимосвязи объема РП и характеристик порождения речи, можно ограничиться одним из тестов.

3. Заключение

В настоящей статье была продемонстрирована корреляция между результатами тестов на определение вербальной РП. Значимые корреляции между известными методиками определения объема РП при

порождении и понимании речи дают возможность использовать один из тестов в исследованиях взаимосвязи РП и речевого поведения человека.

Зарубежные ученые нашли подтверждение тому, что различия в объеме рабочей памяти соотносятся со способностями испытуемых в таких видах деятельности, как понимание текста при чтении на родном языке [Daneman, Carpenter, 1980, 1983; Daneman, Green, 1986; Masson, Miller, 1983; Miyake et al., 1994; Tomitch, 1995; Daneman, 1991], письмо на родном языке [Benton et al., 1984], обучение программированию [Shute, 1991], обучение письму [Ormrod, Cochran, 1988], экспертная деятельность [Ericsson, Delaney, 1998, 1999]. Результаты, полученные в этой работе, позволяют использовать один из тестов на определение объема РП для исследования связи РП с успешностью испытуемых в разных видах речевой (и не только) деятельности на русском языке.

Все эти работы и результаты, приведенные в данной статье, говорят о двух важнейших тенденциях в исследовании связи РП и механизмов понимания и порождения речи:

1) тесты на определения объема РП, представляющие собой задания, нагружающие активный компонент РП и компонент хранения информации, подходят для измерения объема РП, т.к. значимо коррелируют между собой;

2) объем РП, измеренный данными тестами, может служить фактором, влияющим на порождение и понимание речи.

Следует сделать оговорку: наши исследования демонстрируют лишь связь между объемом РП и различными процессами в понимании и порождении речи, но ничего не говорят о направлении этой связи, т.е. влиянии объема РП на процессы речепонимания или речепорождения (или наоборот). Доказательство влияния объема РП на успешность речепорождения является одной из множества задач, которые нам предстоит решить в будущих исследованиях.

Библиографический список / References

Давыдова, 2017 – Давыдова В.Ф. Измерение объема рабочей памяти: сравнительный анализ существующих психолингвистических методик. 2017. Курсовая работа, рукопись. [Davydova V.F. Izmerenie ob"ema rabochej pamyati: sravnitel'nyj analiz sushchestvuyushchih psiholingvisticheskih metodik [Working memory capacity measure: comparative analysis of existing psycholinguistical methods]. 2017. Thesis.]

Ляшевская, Шаров, 2009 – Ляшевская О.Н., Шаров С.А. Частотный словарь современного русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка). М., 2009. [Lyashevskaya O.N., Sharov S.A. Chastotnyj slovar' sovremennogo russkogo yazyka (na materialah Nacional'nogo korpusa russkogo

yazyka) [A Frequency Dictionary of Contemporary Russian language (based on Russian National Corpus)]. Moscow, 2009.]

Потанина и др., 2016 – Потанина Ю.Д., Подлесская В.И., Федорова О.В. Вербальная рабочая память и лексико-грамматические сигналы речевых затруднений: данные русского мультимодального корпуса // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной Международной конференции Диалог (Москва, 1–4 июня 2016 г.). Вып. 15 (22). М., 2016. С. 566–577. [Potanina Yu.D., Podlesskaya V.I., Fedorova O.V. Verbal Working Memory and Speech Production Difficulties: Data from Russian Multimodal Corpus. *Komp'yuternaya lingvistika i intellektual'nye tekhnologii: Po materialam mezhegodnoj konferencii Dialog* (*Moskva*, *1–4 iyunya*). Vol. 15 (22). Moscow, 2016. Pp. 566–577.]

Слабодкина, 2011 – Слабодкина Т.А. Объем рабочей памяти. Разработка теста Speaking Span на русском языке. 2011. Курсовая работа, рукопись. [Slabodkina T.A. Ob"em rabochej pamyati. Razrabotka testa speaking span na russkom yazyke [Working memory capacity. Development of the Speaking Span test in Russian language]. 2011. Thesis.]

Федорова, 2010 – Федорова О.В. Основы экспериментальной психолингвистики: Рабочая память и понимание. М., 2010. [Fedorova O.V. Osnovy ehksperimental'noj psiholingvistiki: Rabochaya pamyat' i ponimanie [Basics of experimental linguistics: Working memory and speech understanding]. Moscow, 2010.]

Федорова, Потанина, 2013 – Федорова О.В., Потанина Ю.Д. Рабочая память и язык: от речепонимания к речепорождению // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. 2013. № 1. С. 51–60 [Fedorova O.V., Potanina Yu.D. Working memory and language: from speech understanding to speech production. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9: Filologiya.* 2013. № 1. Pp. 51–60.]

Федорова, Потанина, 2016 – Федорова О.В., Потанина Ю.Д. Рабочая память и русский язык: от речепонимания к речепорождению // V Международная научная конференция «Психология индивидуальности»: Сб. материалов / Под общ. ред. В.Д. Шадрикова, В.А. Ключарева, Д.А. Леонтьева. М., 2016. С. 408–410. [Fedorova O.V., Potanina Yu.D. Working memory and language: from speech understanding to speech production. *V Mezhdunarodnaya nauchnaya konferenciya «Psihologiya individual'nosti».* V.D. Shadrikov, V.A. Klyucharev, D.A. Leont'ev (eds.). Moscow, 2016. S. 408–410.]

Atkinson, Shiffrin, 1968 – Atkinson R.C., Shiffrin R.M. Human memory: A proposed system and its control processes. *The psychology of learning and motivation: Advances in research and theory.* Spence K.W., Spence J.T. (eds.). New York, 1968. Pp. 89–195.

Baddeley, 1997 – Baddeley A. D. Human memory: Theory and practice. Psychology Press, 1997.

Baddeley, 1974 – Baddeley A.D., Hitch G. Working memory. *Psychology of learning and motivation*. 1974. Vol. 8. Pp. 47–89.

Barrett et all., 2004 – Barrett L.F., Tugade M.M., Engle R.W. Individual differences in working memory capacity and dual-process theories of the mind. *Psychological bulletin.* 2004. Vol. 130. № 4. Pp. 553.

Benton et all., 1984 – Cognitive capacity differences among writers. Benton S.L., Kraft R.G., Glover J.A., Plake B.S. *Journal of Educational Psychology*. 1984. Vol. 76. № 5. Pp. 820.

Chafe, 1980 – Chafe W.L. The pear stories: Cognitive, cultural, and linguistic aspects of narrative production (Advances in Discourse Processes, vol. III). Norwood, N.J., 1980.

Conway et al., 2005 – Working memory span tasks: A methodological review and user's guide. Conway A.R.A. et al. *Psychonomic bulletin & review*. 2005. Vol. 12. № 5. Pp. 769–786.

Craik et all., 1986 – Craik F., Klix F., Hagendorf H. A functional account of age differences in memory. 1986.

Daneman, 1991 – Daneman M. Working memory as a predictor of verbal fluency. *Journal of Psycholinguistic Research.* 1991. Vol. 20. № 6. Pp. 445–464.

Daneman, Carpenter, 1980 – Daneman M., Carpenter P.A. Individual differences in working memory and reading. *Journal of verbal learning and verbal behavior.* 1980. Vol. 19. № 4. Pp. 450–466.

Daneman, Carpenter, 1983 – Daneman M., Carpenter P. A. Individual differences in integrating information between and within sentences. *Journal of Experimental Psychology: Learning*, *Memory*, *and Cognition.* 1983. Vol. 9. № 4. Pp. 561.

Daneman, Green, 1986 – Daneman M., Green I. Individual differences in comprehending and producing words in context. *Journal of memory and language*. 1986. Vol. 25. № 1. Pp. 1–18.

Ericsson, Delaney, 1998 – Ericsson K.A., Delaney P.F. Working memory and expert performance. *Working memory and thinking: Current issues in thinking and reasoning*. 1998. Pp. 93–114.

Ericsson, Delaney, 1999 – Ericsson K.A., Delaney P.F. Long-term working memory as an alternative to capacity models of working memory in everyday skilled performance. 1999.

Fedorova, Yanovich, 2006 – Fedorova O.V., Yanovich I.S. Early preferences in relative clause attachment in Russian: The effect of working memory differences. *Proceedings of FASL 14: The Princeton Meeting. Ann Arbor.* Michigan Slavic Publications, 2006. Pp. 113–128.

Hayes, 1952 – Hayes J.R.M. Memory span for several vocabularies as a function of vocabulary size. *Quarterly Progress Report*. 1952. Pp. 338–352.

Pechenkova, Fedorova, 2007 – Pechenkova E.V., Fedorova O.V. When "colorless green ideas..." meet working memory span. *Proceedings of the 9th International conference* "*Cognitive modeling in linguistics*". Solovyev V.D., Pechenkova E.V., Polyakov V.N (eds). Kazan, 2007. Pp. 22–31.

Pollack, 1953 – Pollack I. Assimilation of sequentially encoded information. *The American journal of psychology*. 1953. Vol. 66. № 3. Pp. 421–435.

Masson, Miller, 1983 – Masson M.E., Miller J.A. Working memory and individual differences in comprehension and memory of text. *Journal of Educational Psychology.* 1983. Vol. 75. № 2. P. 314.

Miller, 1956 – Miller G.A. The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. *Psychological Review*. 1956. Vol. 63. № 2. Pp. 81–97.

Miller et all., 1960 – Miller G.A., Galanter E., Pribram K.H. Plans and the structure of behavior. New York, 1960.

Miyake et all., 1994 – Miyake A., Carpenter P.A., Just M.A. A capacity approach to syntactic comprehension disorders: Making normal adults perform like aphasic patients. *Cognitive neuropsychology.* 1994. Vol. 11. № 6. Pp. 671–717.

Ormrod J. E., Cochran, 1988 – Ormrod J.E., Cochran K.F. Relationship of verbal ability and working memory to spelling achievement and learning to spell. *Literacy Research and Instruction*. 1988. Vol. 28. № 1. Pp. 33–43.

Shute, 1991 – Shute V.J. Who is likely to acquire programming skills? *Journal of educational Computing research*. 1991. Vol. 7. № 1. Pp. 1–24.

Tomitch, 1995 – Tomitch L.M.B. Reading: text organization perception and working memory capacity. 1995.

Turner, Engle, 1989 – Turner M.L., Engle R.W. Is working memory capacity task dependent? *Journal of memory and language.* 1989. Vol. 28. № 2. Pp. 127–154.

Waters G.S., Caplan, 2003 – Waters G.S., Caplan D. The reliability and stability of verbal working memory measures. *Behavior Research Methods.* 2003. Vol. 35. № 4. Pp. 550–564.

Статья поступила в редакцию 3.06.2017

The article was received on 3.06.2017

Потанина Юлия Дмитриевна – аспирантка кафедры теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Potanina Yulia D. – Postgraduate Student of Department of Theoretical and Applied Linguistics of Philological Faculty, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation

E-mail: yulia.potanina.msu@gmail.com

Издание
подготовили
к печати:
редактор
А. А. Козаренко,
корректор
А. А. Алексеева,
обложка, макет,
компьютерная
верстка
Н. А. Попова

Rhema. Рема

2017.3

Электронная версия журнала:
www.mpgu.su,
см. раздел «Издания МПГУ»

Сдано в набор 20.09.2017 г.
Подписано в печать 30.09.2017 г.
Формат 60×90 1/16. Гарнитура «Times New Roman».
Объем 8,75 п. л. Тираж 1000 экз.